



rocketbook

Зельда Фицджеральд

Спаси меня, вальс



Зельда Фицджеральд

**Спаси меня, вальс**

«ЭКСМО»

1932

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

### **Фицджеральд З.**

Спаси меня, вальс / З. Фицджеральд — «Эксмо», 1932

ISBN 978-5-04-099915-6

«Спаси меня, вальс» – единственный роман знаменитой Зельды Фицджеральд, отличающийся яркой образностью и очевидными автобиографическими аналогиями. Зельда писала о том, что хорошо знала сама, – о двадцатых годах двадцатого века, «эпохе джаза» и «потерянного поколения», когда люди ее круга сначала стремились преодолеть будничную рутину, а потом скуку нескончаемого веселья. На фоне артистических кругов Нью-Йорка и Парижа иногда абсолютно точно, а иногда с точностью до наоборот отображена жизнь легендарной четы и, словно на авансцене, любит, мучается, набирается мудрости легкомысленная и взбалмошная красавица Алабама Найт. Тяжелое балетное искусство, описанное детально и реалистично, помогает ей обрести мир в душе и найти себя. Пронзительная книга о потерянной жизни, но не выдуманного персонажа, а живой женщины.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-099915-6

© Фицджеральд З., 1932

© Эксмо, 1932

## Содержание

От переводчика	6
Часть первая	9
I	9
II	19
III	27
Часть вторая	37
I	37
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# **Зельда Фицджеральд**

## **Спаси меня, вальс**

© Володарская Л.И., перевод на русский язык. Наследник, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

## От переводчика

*Я влюблен в ураган... Но я влюблен!  
Я люблю ее, я люблю ее, я ее люблю!*

**Ф. С. Фицджеральд. Дневник**

Зельда Фицджеральд (1900–1947), жена Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (с 1920 г.), родилась в небольшом южном городе Монтгомери, штат Алабама. Она была шестым ребенком в семье, и назвали девочку в честь цыганки из романа, который во время беременности читала ее немного взбалмошная мать. Словно оправдывая свое необычное имя, Зельда никогда не была тихой, застенчивой, скромной, добропорядочной южанкой, словом, она не была и не хотела быть как все. Своевольная девушка наверняка вызывала ужас у соседей, но она была красивой, на редкость раскрепощенной, в ней бурлила кровь, и вокруг нее толпой вились юноши и мужчины из располагавшегося рядом военного лагеря. При этом она была практичной и не собиралась вести нищенскую жизнь, даже ради брака по любви. И Фрэнсису Скотту Фицджеральду, бросившему университет ради армии и армию то ли ради Зельды, то ли ради писательства, то ли ради Зельды и писательства вместе, пришлось ехать домой и засесть за роман, начатый еще в колледже, который получил название «По эту сторону рая» (1920). Как говорится, наутро после выхода книги в свет Ф. С. Фицджеральд проснулся богатым и знаменитым и помчался к возлюбленной – снова предлагать ей руку и сердце. Не скупавшая в его отсутствие, однако пока еще свободная, Зельда с готовностью приняла предложение, родители тоже больше возражать не стали, и молодые зажили в соответствии с начинавшимся новым временем, в котором они изо всех сил стремились стать самыми модными, самыми успешными, самыми узнаваемыми.

Двадцатые годы двадцатого века в Америке называют временем джаза, в Европе – временем потерянного поколения. Послевоенная молодежь не желала повторять жизненный путь своих родителей, осознав, что в их мире не было ничего такого, за что стоило бы держаться, раз в нем случилась кровопролитная война. Из этого постулата молодые мужчины и женщины сделали главный вывод: война может повториться, и нельзя откладывать на завтра удовольствия, которым можно предаться немедленно. Молодым людям не было дела до морали и условностей, коли они не спасали от войны и смерти! Для них не существовало ничего стабильного, что помогало бы удерживаться в рамках здравого смысла и не гнаться безостановочно за нарочитой экстравагантностью, сметая на своем пути не только внешние, но и внутренние устои, что, к несчастью, приводило к страшным зависимостям, истощавшим и талант, и здоровье, и кошелек. Для Фицджеральдов это было веселье без удержу и напоказ, потому что все происходившее с ними тотчас попадало или в газеты, или по крайней мере в городской фольклор. Они были первыми в умении эпатировать и постоянно оставаться на виду. Наверное, поначалу им это нравилось, потом, судя по всему, нравиться перестало – захотелось больше творчества и меньше шума, но добровольно выскочить из затянувшей круговерти не удалось.

Соперничая со знаменитым мужем, женские образы которого списаны с нее и ее прославили, Зельда пыталась рисовать, писать, занималась танцами. В 1930 г., когда с ней случился первый приступ болезни, она написала три рассказа и балетное либретто, а за шесть недель в январе – феврале 1932 года – роман «Спаси меня, вальс», как известно, «на зависть» мужу, который к этому времени уже пять лет работал над романом «Ночь нежна». Однако потом

она еще примерно три месяца, до середины мая, вносила в текст и существенные, и мелкие поправки.

Роман «Спаси меня, вальс», несомненно, в большой степени автобиографический, но это не автобиография, в меньшей степени он документальный, но это и не документальная проза. На самом деле Зельда, используя события из собственной биографии, атмосферу реальной эпохи и фантазии о возможном варианте своей жизни, предприняла попытку осмыслить взаимоотношения женщины и того времени. На фоне жизни артистических кругов Нью-Йорка и Парижа после Первой мировой войны иногда абсолютно точно, а иногда с точностью до наоборот (особенно в последней части романа) отображена жизнь легендарной четы, и, словно на авансцене, любит, мучается, набирается мудрости мятущаяся американка из южного штата. Зельде Фицджеральд удалось создать, как мне кажется, самый удачный женский литературный автопортрет в истории американской литературы, который, не исключено, повлиял на Маргарет Митчелл, когда она создавала свою знаменитую южанку Скарлетт О'Хару.

О романе «Спаси меня, вальс» довольно много спорят в западной критике, выясняя, насколько самостоятельно творение Зельды Фицджеральд. Не утихают бесконечные дискуссии о том, какую роль сыграл Ф. С. Фицджеральд в «доводке» единственного романа своей жены. Надо сказать, что сохранилось кое-что из его переписки на сей счет, причем переписки в высшей степени противоречивой. То ему нравится роман, и он считает его настоящей удачей Зельды, то вдруг высказывается категорически против его художественных достоинств. Известно его утверждение, что все изменения, внесенные в текст по требованию издательства, были сделаны исключительно самой Зельдой Фицджеральд. Правда, он оговаривает и то, что давал ей советы. Но, с другой стороны, ходят слухи, что и она давала ему советы...

Мне привелось перевести несколько рассказов самого Фицджеральда, и конечно же, я внимательно читала его прозу. Перечитывала его и в последнее время, поддавшись желанию найти ответ на возникающий у всех вопрос: был он соавтором своей жены или не был? Должна сказать, что эти два прозаика говорят как будто на разных языках, используют разную лексику, да и способы построения фразы и ее энергетическое наполнение у них совершенно разные. Несомненно, что роман «Спаси меня, вальс» из числа так называемых первых романов начинающих авторов, которые вкладывают в эти романы *весь* свой жизненный опыт, как правило, перенасыщая их информацией и эмоциями в ущерб остальным компонентам. Скорее всего роль опытного Ф. С. Фицджеральда в редактировании этого произведения как раз и заключалась в том, чтобы предостеречь Зельду от этой ошибки.

Зато выправить положение с главным героем романа ему не очень-то удалось, и художник Дэвид Найт, муж Алабамы, очень бледный персонаж, по собственному определению Фицджеральда, и в общем-то, он не стал живее, выразительнее, глубже в окончательном варианте, во всяком случае, не стал ровень с Алабамой и даже с некоторыми второстепенными персонажами после редактуры, хотя у Зельды, судя по всему, было желание не только изобразить своего мужа, но и сделать его образ как можно более привлекательным (наверное, в этом состояла ее ошибка). Подобно многим первым романам, «Спаси меня, вальс» перегружен языковыми «украшениями», а также не очень-то известными широкой публике понятиями... Как говорится, «словечка в простоте не скажут».

Как бы то ни было, и сегодня роман Зельды Фицджеральд востребован, его постоянно перепечатывают, он находит все новых читателей и почитателей. А несчастливая счастливица Зельда Фицджеральд, не сумевшая обрести покой в собственной жизни, все же подарила его своему литературному отражению – Алабаме Найт.

\* \* \*

*Посвящается Милдред Сквайерс*

*Если когда-либо горя нависшего  
Черную тучу вы мощно развеяли –  
Боги родные, придите и ныне!<sup>1</sup>*  
**Софокл. Царь Эдип**

---

<sup>1</sup> Перевод Ф. Зелинского.

## Часть первая

### I

– Ох уж эти девчонки, – говорили в округе, – творят невесть что, будто им всё нипочем.

А нипочем потому, что девчонки верили в своего надежного отца. Для них он был как живая крепость. Большинство людей выигрывают жизненные битвы с помощью компромиссов, возводят неприступные башни благодаря смиренному здравому смыслу, строят философские мосты из отречения от эмоций и из ожогов, достающихся мародерам от бурлящего кипятка незрелых чувств. В своих воззрениях Судья Беггс укрепился, будучи еще очень молодым: его башни и часовни сооружались из интеллектуального материала. Насколько было известно его близким, он не оставил ни одной тропинки, и к его крепости не могли подойти ни приятель-пастух, ни воинственный барон. Однако именно эта неприступность обернулась брешью в его блистательном облике, и это, возможно, не позволило ему стать значительной фигурой в национальной политике. То, что в штате милостиво принимали его превосходство, мешало детям приложить необходимые усилия для создания собственных цитаделей. В жизненном цикле поколений достаточно одного господина, способного поднять их существование над бедами и болезнями, обеспечив выживание потомству этого господина.

Один сильный человек может стать опорой для многих, отбирая для своих чад такие жертвования в натурфилософию, которые обретали для его семьи видимость некоей цели. Когда дети из семьи Беггсов научились принимать насущно необходимые перемены своего времени, проклятый старик<sup>2</sup> уже уселся им на шею. Прихрамывая от тяжести, они вцепились в крепостные башни своих пращуров, обнесли забором свое духовное наследство – которого могло бы остаться больше, если бы они подготовили соответствующее хранилище.

Школьная подружка Милли Беггс говорила, что в жизни не видала более беспокойных младенцев. Если им что-то приспичивало, Милли либо сама выполняла их требования, либо звала врача, чтобы он обуздал жестокий мир, который был недостаточно хорош для ее исключительных деток. Немного получив от отца, Остин Беггс работал день и ночь в лаборатории своего мозга, чтобы ни в чем не отказывать семье. Волей-неволей Милли приходилось самой в три часа ночи брать на руки малышей и тихонько петь им или трясти погремушками, чтобы происхождение «Кодекса Наполеона» не улетучилось из головы ее мужа. А он говаривал без тени улыбки: «Я возведу для себя крепостной вал с колючей проволокой наверху и пушу вокруг диких зверей, чтобы никого из этих хулиганок не видеть и не слышать».

Остин любил девочек Милли с беспристрастной нежностью, анализируя свои чувства, как это свойственно мужчинам, занимающим высокое положение, если они имеют дело с напоминанием о своей юности, с памятью о далеком прошлом, когда они еще предпочитали набираться опыта, а не стали творением обретенных житейских познаний. Что это значит, легко понять, уловив сердечные ноты в бетховенской «Весенней» сонате. Наверное, Остин был бы ближе к семье, не похорони он единственного сына, совсем еще маленького. Уйдя в неистовое оплакивание своей потери, Судья как будто бежал от разочарования. Мужчинам и женщинам дано разделить поровну лишь финансовые трудности, однако как раз именно их Судья и взвалил на Милли. Швырнув ей на колени счет за похороны мальчика, он крикнул душераздирающе: «Ради Бога, как, по-твоему, я смогу это оплатить?!»

---

<sup>2</sup> Имеются в виду искусственные цели. Намек на старика, усевшегося обманом на шею Синдбада-Морехода, и тот никак не мог скинуть этого мучителя. (См. арабские сказки «Тысяча и одна ночь».) – Здесь и далее примеч. пер.

Никогда особенно не приближавшаяся к реальной жизни, Милли не сумела примирить эту мужскую жестокость со своим представлением о справедливости и благородстве. С тех пор она больше не пыталась составить объективное суждение о людях, но, замечая в первую очередь все их несовершенства, она все же заставила себя быть преданной им и таким образом достигла едва ли не ангельской гармонии в своей жизни.

– Возможно, у меня плохие дети, – сказала она как-то подруге, – но я этого не замечаю.

Накопленные представления о непримиримых противоречиях в характере человека научили Милли мысленно переключаться, этот трюк она освоила после рождения последнего ребенка. Когда Остин, впадая в ярость из-за косности современной цивилизации, метал над ее терпеливой головкой грома и молнии своего разочарования, неверия в человечество и денежных затруднений, она тут же переносила возникшее раздражение на простуду Джоанны или вывихнутую лодыжку Дикси, преодолевая все жизненные невзгоды с блаженной скорбью греческого хора.

Оказавшись перед лицом реальной нищеты, Милли погрузилась в стоический непоколебимый оптимизм, отчего сделалась недостижимой для бед, преследовавших ее до самой старости.

Взращенная мистическим духом негритянских мамок, семья, как насадка, холила и опекала девочек. Когда же они стали взрослеть, из-за скандалов по поводу каждого истраченного без спросу лишнего цента, трамвайной поездки на природу, пакетика мятных лепешек, Судья стал для них карающим органом, неумолимой Судьбой, могущественным законом, установленным порядком, дисциплиной. Молодость и старость: гидравлический фуникулер, с возрастом теряющий силу напора, но не желающий сдаваться. Повзрослевшие девочки искали у матери передышки от нотаций по поводу их девичьих капризов, как искали бы тенистую рощу, чтобы спастись от ослепительного света.

Скрипит крыльцо, светящийся жук с яростью поворачивает к цветкам клематиса, насекомые роem устремляются к золотистым гибельным светильникам в холле. Тени влажно касаются южной ночи, будто тяжелые мокрые швабры, возвращая ей жаркую черноту. Меланхоличный луноцвет выставляет темные жадные лапы над веревочными шпалерами.

– Расскажи, какой я была, – требует самая младшая дочь, прижимаясь к матери, чтобы ощутить ее близость.

– Ты была хорошей.

Девочке не хватало знаний про саму себя, ведь она родилась слишком поздно, когда из отношений родителей уже исчезли страсть и азарт и дочь уже не столько дочь, сколько некое отвлеченное понятие. А ей хотелось знать, какая она и на кого похожа, так как была слишком маленькой и еще не понимала, что она ни на кого не похожа и должна облечь свой скелет в то, что идет изнутри, как генерал, который может воссоздать битву, отмечая продвижения и отступления разноцветными булавами. К тому же ей было неизвестно, что каждое из ее усилий помогало ей стать самой собой. То, что ее скупой отец способен лишь на ограничения, Алабама поняла гораздо позже.

– А я плакала по ночам? Кричала так, что ты и папа желали мне смерти?

– Чепуха! Все мои дети были замечательные.

– И бабушкины тоже?

– Думаю, да.

– А почему она прогнала дядю Кэла, когда он вернулся с Гражданской войны?

– Твоя бабушка была странной старой дамой.

– И Кэл был странным?

– Да. Когда он приехал, бабушка послала сказать Флоренс Фетер, мол, если она собирается ждать ее смерти, чтобы выйти замуж за Кэла, то пусть Фетеры имеют в виду: Бегтсы имеют обыкновение жить долго.

– Она была очень богатой?

– Нет. Дело не в деньгах. Тогда Флоренс сказала, что с матерью Кэла может ужиться разве что дьявол.

– И Кэл не женился на ней?

– Нет. Бабушки всегда умеют настоять на своем.

Мама засмеялась – это был смех барышника, который рассказывает о своих удачах, как бы извиняясь за скопидомство, смех одного из членов семьи-победительницы, которая в вечном соперничестве одержала верх над другой семьей-победительницей.

– Будь я дядей Кэлом, ни за что не потеряла бы такое, – возмутилась малышка. – Я бы сделала то, что хотела, с мисс Фетер.

Глубокий поставленный голос отца подчиняет тьму последним диминуэндо<sup>3</sup>: пора спать.

Закрывая ставни, отец прячет некоторые особенности своего дома: и вот пронизанные солнечными лучами занавески с оборками начинают волноваться, складки колышутся, как косматая садовая изгородь, вокруг цветочков на ситце. В сумерках нет ни теней, ни искаженных очертаний мебели, зато комнаты становятся смутными серыми мирами. Зимой и весной дом похож на прекрасное сияющее отражение в зеркале. И тогда не имеет никакого значения то, что стулья разваливаются, а в коврах появляется все больше дыр. Дом становится как безвоздушное пространство, заполненное цельной натурой Остина Беггса. Как сверкающий меч, он покоится ночью в ножнах своего усталого благородства.

Жестяная крыша трескается в жару; внутри духота, как в закупоренной вентиляционной шахте. Во фрамуге над одной из дверей в верхней зале нет света.

– Где Дикси? – спрашивает отец.

– Гуляет с друзьями.

Почувствовав, что мать чего-то недоговаривает, девочка придвигается к ней поближе, наслаждаясь своим участием в семейных делах.

«У нас что-то происходит, – думает она. – Как интересно быть семьей».

– Милли, – не успокаивается отец, – если Дикси опять болтается по городу с Рэндольфом Макинтошем, пусть катится вон из моего дома.

У отца от ярости трясется голова, с носа падают очки. Мама бесшумно ступает по теплым коврам своей комнаты, а девочка лежит в темноте, гордясь тем, что она тоже причастна к жизни семьи. Прямо в батистовой ночной сорочке отец отправляется вниз ждать старшую дочь.

Над кроватью младшей витает аромат спелых груш, доносящийся из сада. Где-то вдалеке оркестр репетирует вальс. Все белое сияет в темноте – белые цветы и брусчатка. Подобно серебряному веслу, луна в оконном стекле, наклонясь к саду, рассекает густой туман. Мир кажется моложе, чем на самом деле, ну а девочка ощущает себя старой и мудрой, у нее свои проблемы, она борется с ними как со своими собственными, а не унаследованными от предков. Но пока всё сверкает и цветет. Девочка важно исследует жизнь, словно ходит по диковинному саду, воображая, что вокруг не скучные ухоженные газоны. Она презирает упорядоченные посадки, она верит, что есть некий сказочный садовник, который приносит сладко пахнущие цветы с самых неприступных гор и расцветающие ночью плющи – с каменных пустошей, это он сажает дыхание сумерек и холит ноготки. Ей хочется, чтобы жизнь была легкой и наполненной приятными воспоминаниями.

В раздумья девочки вторгаются романтические мысли о beau<sup>4</sup> ее сестры. У Рэндольфа перламутровое изобилие волос, отсвет которых ложится на его лицо. Когда в ночном смятении она размышляет о своих чувствах и своем отношении к красоте, ей кажется, что она такая же, только изнутри. И о Дикси она думает с волнением, как о себе самой, но взрослой, отделенной

---

<sup>3</sup> Постепенное ослабление силы звучания.

<sup>4</sup> Кавалер, поклонник (*фр.*).

от нее теперешней, преображенной временем, это как увидеть вдруг свою дочерна загоревшую руку, и не поймешь сразу, что она твоя, если не заметишь, как она коричневела. И влюбленность сестры она тоже присваивает себе. От пережитого возбуждения на нее нападает сонливость. Алабама постепенно забывается в своих слабеющих грезах. Она спит. Луна ласкает лучами ее загорелое личико. Во сне девочка взрослеет. В один прекрасный день она откроет глаза и увидит, что растения в горных садах – это в основном грибы, которым не требуется забота, а белые диски, наполняющие ночь своим ароматом, в сущности не цветы, а результат эмбрионального роста; а став еще старше, будет с чувством горечи бродить по геометрически ровным тропинкам философа классицизма Ленотра<sup>5</sup>, а не по туманным дорожкам между грушевыми деревьями и клумбами с ноготками из своего детства.

Алабама никогда не могла понять, отчего просыпалась по утрам. Глядела кругом, осознавая, какое у нее бессмысленное лицо, словно бы укрытое мокрым банным полотенцем. Потом она с усилием приходила в себя. На неподвижном, как туго натянутая сетка, лице блестели живые глаза пушистого дикого зверька, попавшего в коварно распахнутую ловушку. Лимонно-желтые волосы льнули к спине, невидимые. Одеваясь, чтобы идти в школу, Алабама позволяла себе много лишних жестов, приглядываясь к своему телу. Падая на безмятежный Юг школьный бемольный звонок, напоминая позвякивание бакена на заглушающей всякие звуки беспредельности моря. На цыпочках она шла в комнату Дикси и красила щеки ее румянами.

Ей говорили: «Алабама, у тебя на лице румяна». А она отвечала: «Я терла лицо щеткой для ногтей».

Дикси вполне соответствовала всем требованиям младшей сестры; в ее комнате чего только не было; повсюду лежали шелковые штучки. Спичечница с «Тремя Обезьянками» стояла на каминной полке. «Темный цветок», «Гранатовый дом», «Свет погас», «Сирано де Бержерак» и иллюстрированное издание «Рубайят»<sup>6</sup> располагались между двумя гипсовыми «Мыслителями»<sup>7</sup>. Алабама знала, что «Декамерон» спрятан на верхней полке комода – она уже читала рискованные страницы. Над книжками гибсоновская<sup>8</sup> девушка, целящаяся шляпной булавкой в мужчину через увеличительное стекло; парочка медвежат, блаженствующих на беленьких качелях. У Дикси была розовая нарядная шляпа, аметистовая брошка и электрические щипцы для волос. Ей уже исполнилось двадцать пять лет. Алабаме исполнится четырнадцать в два часа ночи четырнадцатого июля. Другой сестре – Джоанне – было двадцать три, но Джоанна жила отдельно; впрочем, она была такой обыкновенной, что ничего не менялось оттого, жила она дома или не жила.

Как обычно с легкой опаской, Алабама съехала вниз по перилам. Иногда ей снилось, будто она падает с перил, но все же спасается, оказавшись верхом на перилах самой нижней лестницы – скользя вниз, она заново переживала испытанные во сне чувства.

Дикси уже сидела за столом, отрешенная от мира, словно бы бросая ему тайный вызов. На подбородке и на лбу у нее выступили красные пятна, потому что она плакала. Лицо то вздувалось, то опадало в разных местах, как кипятик в кастрюле.

- Я не просила, чтобы меня рожали, – заявила Дикси.
- Остин, она ведь уже взрослая женщина.
- Этот человек – пустышка и бездельник. Он даже не разведен.

<sup>5</sup> Имеется в виду *Андре Ленотр* (1613–1700) – французский архитектор и создатель регулярных садов, в том числе в Версальском дворцовом ансамбле.

<sup>6</sup> «Темный цветок» – роман Джона Голсуорси, «Гранатовый дом» – сборник сказок Оскара Уайльда, «Свет погас» – роман Редьярда Киплинга, «Рубайят» – стихи Омара Хайяма.

<sup>7</sup> Вероятно, речь идет о фигурке из каменного века, которую ученые назвали «Мыслитель», и о скульптуре «Мыслитель» Огюста Родена.

<sup>8</sup> Идеальная американка 90-х годов XIX века: полногрудая красавица с тонкой талией и высокой прической. Этот образ был создан художником *Чарлзом Гибсоном* (1867–1944).

- Я сама зарабатываю себе на жизнь и делаю что хочу.
- Милли, его ноги больше не будет в моем доме.

Алабама сидела очень тихо, предвкушая эффектный протест против отцовского вмешательства в романтическую историю. Но ничего необычного не происходило, разве что выжидательное спокойствие самой Алабамы.

Солнце сверкало на резных серебристых листьях папоротника и на серебряном кувшине для воды, и Судья Беггс шагал по бело-голубому полу в свой кабинет, где ему было отмерено много времени и много пространства – и ничего больше. Алабама слышала, как остановился на углу под розово-пурпурными катальпами трамвай и как ушел Судья. Без него солнечный свет заиграл на папоротниках совсем в другом, вольном ритме; дом Судьи подчинялся воле хозяина.

Алабама смотрела на ветви плюща «камписиса», обвившего задний забор, было очень похоже на бусы из коралловых обломков, только нанизанных на стебель. Утренняя тень под мелией была такой же хрупкой и надменной, как утренний свет.

- Мама, я больше не хочу ходить в школу, – задумчиво проговорила Алабама.
- Почему?
- Я и так все знаю.

Мать воззрилась на дочь в слегка враждебном изумлении; но девочка, не желая демонстрировать свои чувства, отвернулась к сестре.

- Как ты думаешь, что папа сделает с Дикси?

– Ах, ради бога! Не забивай свою хорошенькую головку вещами, которые тебя пока не касаются, если, конечно, тебя это действительно волнует.

– Будь я на месте Дикси, ни за что не позволила бы ему вмешиваться. Мне нравится Дольф.

- В этом мире нельзя иметь всё, что хочется. А теперь беги, не то опоздаешь в школу.

Вспыхнув жарким пульсирующим огнем щек, школьный класс оттолкнулся от больших квадратных окон, чтобы прибиться взглядом к унылой литографии с изображением сцены подписания Декларации независимости. Медлительные июньские дни прибавляли солнечного света на далекой доске. Белые катышки от стирающих ластиков взвивались в воздух. Отросшие волосы, зимний серж, осадок из чернилниц мешали еще не распалившемуся лету, прорывавшему белые туннели под деревьями на улице и отпарившему окна головокружильным жаром. Заунывно-напевные негритянские голоса нарушали тишину.

- Покупайте помидоры, красные вкусные помидоры! Овощи, берите овощи!

На мальчиках были зимние длинные черные чулки, отливавшие на солнце зеленью.

Алабама вписала «Рэндольф Макинтош» под «Дебаты в Афинской ассамблее». Взяла в кольцо фразу: «Все мужчины были немедленно преданы смерти, а женщины и дети проданы в рабство». Раскрасила губы Алкивиаду и сделала ему модную прическу, закрыв на этом «Древнюю историю» Майера<sup>9</sup>. Ее мысли были заняты совсем не книгой. Как это у Дикси получается быть такой легкой и всегда готовой ко всяким неожиданностям? Алабама подумала, что сама никогда и ни на что не решится с бухты-барахты – она никогда не сможет жить в состоянии постоянной готовности. По мнению Алабамы, Дикси воплощала идеально подходящий для жизни инструмент.

В городской газете Дикси вела колонку светской жизни. Едва она приходила со службы, телефон начинал звонить и звонил непрерывно до самого ужина. Ее воркующий жеманный говорок не умолкал и словно сам прислушивался к своему звучанию.

- Не могу сейчас сказать...

---

<sup>9</sup> В «Записных книжках» Скотта Фицджеральда есть такая запись: «Начало плохого образования – из «Древней истории» Майера и особого внимания к римским колоннам».

Потом слышалось долгое медленное бульканье, как бульканье воды в ванной.

– Ну, скажу, когда увидимся. Нет, сейчас не могу.

Судья Беггс лежал на жесткой железной кровати и перебирал пачки желтеющих газет. Весь он, как листьями, был укрыт томами «Анналов британского правосудия» и «Особых случаев в судебной практике» в переплетах из телячьей кожи. Телефон мешал ему сосредоточиться.

Судья знал, когда звонил Рэндольф. Через полчаса он ворвался в холл, и его голос дрожал от едва сдерживаемого негодования.

– Если ты не можешь говорить, зачем тянешь эту волюнку?

Судья Беггс бесцеремонно выхватил у дочери трубку. В его голосе звучала беспощадность, схожая с беспощадностью рук таксидермиста, работающего над чучелом.

– Буду весьма вам признателен, если вы раз и навсегда перестанете встречаться с моей дочерью и звонить ей.

Дикси заперлась в своей комнате, два дня не выходила оттуда и ничего не ела. Алабама наслаждалась своим участием в семейной драме.

– Мне хотелось бы, чтобы Алабама танцевала со мной на «Балу красавиц», – телеграммой сообщил Рэндольф.

Матери было невозможно устоять перед слезами своих детей.

– Зачем волновать отца? Ты бы могла договариваться обо всем вне дома, – успокаивала она дочь.

Безграничное и противозаконное великодушие матери было вскормлено многими годами сосуществования с неопровержимо логичным, блестящим Судьей. При такой жизни женская терпимость не играла никакой роли и ничем не могла помочь материнским чувствам. Достигнув сорока пяти лет, Милли Беггс стала анархисткой – в своих эмоциях. Таким образом она доказывала себе, что ей самой тоже необходимо выжить. Заложеными в ней противоречиями она как будто отстаивала свое право на тот образ жизни, которого так жаждала. Остину нельзя было умирать и болеть, ведь у него трое детей, и нет денег, и скоро выборы, у него страховки и каждый шаг в согласии с законом; тогда как Милли чувствовала, что, будучи не настолько важной нитью в рисунке ткани, она может позволить себе и то и другое.

Алабама опустила в почтовый ящик письмо, которое Дикси написала по совету матери, и они встретились с Рэндольфом в кафе «Тип-Топ».

Плывя по реке своего отрочества, Алабама часто попадала в водовороты юношеского максимализма и потому интуитивно не принимала «намерений», соединявших ее сестру и Рэндольфа.

Рэндольф писал репортажи для газеты Дикси. Его мать приютила свою маленькую внучку в некрашеном доме на окраине города возле тростниковых зарослей.

В мимике и в глазах Рэндольфа никогда не отражалось его душевное состояние, словно телесное существование само по себе было самым замечательным из всего для него возможного. Его главным занятием была вечерняя школа танцев, и Дикси поставляла ему учеников – как и его галстуки, которые тоже служили этой цели (да, впрочем, и все остальное), следовательно, их надо было правильно подобрать.

– Солнышко, надо класть нож на тарелку, если он не нужен, – сказала Дикси, пытаясь переплавить его личность в печи своего социального круга.

Никогда нельзя было понять, слышал ли он ее, хотя вид у него всегда был такой, словно он к чему-то прислушивался – наверное, к долгожданной серенаде эльфов или невероятному сверхъестественному намеку относительно его социального положения в Солнечной системе.

– Я хочу фаршированные помидоры и картошку au gratin<sup>10</sup>, еще кукурузу и оладьи, и шоколадный крем, – нетерпеливо перебила ее Алабама.

– Боже мой!.. Ладно, Алабама, поставим «Балет часов»<sup>11</sup>, я надену штаны арлекина, а ты – тарлатановую<sup>12</sup> юбочку и треуголку. Сможешь за три недели придумать танец?

– Конечно. Несколько па возьму из прошлогоднего карнавала. Будет вот так. – Алабама двумя пальцами показала на столе замысловатое движение. Потом, прижав один палец к столу, чтобы обозначить место, она широко растопырила другие пальцы и показала еще раз. – А заканчивается вво-о-о-отт так! – крикнула она.

Рэндольф и Дикси не сводили с девочки недоверчивых взглядов.

– Очень мило, – нерешительно проговорила Дикси, поддавшись энтузиазму сестры.

– Можешь шить костюмы, – пылая собственническим восторгом, подвела итог Алабама.

Мародерша, радуясь любому поводу поиграть, она хватала все, что было под рукой, не чураясь ни сестер, ни их возлюбленных, ни представлений, ни доспехов. Все годилось для импровизаций изменчивой беспрестанно девицы.

Каждый день Алабама и Рэндольф репетировали в старой аудитории, пока в ней не становилось темно от пыли, а деревья снаружи не начинали казаться яркими и влажными, как будто их омыл дождь или они вышли из-под кисти Паоло Веронезе. Из этой самой залы первый алабамский полк ушел на Гражданскую войну. Узкий балкон провис на железных столбах, да и в полу зияли дыры. Лестница спускалась вниз и шла через городские рынки: плимутроки<sup>13</sup> в клетках, рыба, ледышки из лавки мясника, гирлянды негритянских башмаков и куча солдатских шинелей. Вздурораженная Алабама жила ради одного мгновения в мире якобы профессиональных секретов.

– Алабама унаследовала от матери чудный румянец, – обменивались впечатлениями влиятельные зрители, наблюдая за ее вращениями по кругу.

– Я терла щеки щеткой для ногтей! – вопила Алабама со сцены.

Алабама всегда так отвечала, когда речь заходила о ее румянце; и пусть это не всегда было убедительно и уместно, но что было, то было.

– У девочки талант. Его надо развивать.

– Я сама все придумала, – слегка приврала Алабама.

Когда после финальной сцены упал занавес, она услышала аплодисменты, напоминавшие грохот городского транспорта. На балу играли два оркестра; губернатор возглавлял танцевальное шествие. После танца Алабама стояла в темном коридоре, который вел в артистическую уборную.

– Я забыла одну фигуру, – прошептала она выжидающе. Жаркое волнение, вызванное представлением, выплескивалось теперь наружу.

– Ты была великолепна, – рассмеялся Рэндольф.

Девочка повисла на этих словах, как платье на вешалке в ожидании хозяйки. Потворствуя ей, Рэндольф стиснул ее длинные руки и коснулся губами девчоночьих губ, но при этом был похож на моряка, высматривающего на горизонте мачты других кораблей. Алабама же приняла этот поцелуй как свидетельство того, что доросла до такого знака доблести – много дней она ощущала его на своем лице, всякий раз, когда ее охватывало волнение.

– Ты ведь уже почти взрослая, правда? – спросил он.

Алабама не разрешила себе обдумать другие варианты, предпочитая те грани своего «я», в которых уже проявлялась женщина, пригрезившаяся ей за его спиной благодаря поцелую.

---

<sup>10</sup> В сухарях (*фр.*).

<sup>11</sup> Возможно, балет «Симфония «Часы» на музыку Гайдна, или «Танец часов» из оперы «Джоконда» Амилькаре Понкелли. Или собственная выдумка Алабамы Беггс.

<sup>12</sup> Из сильно накрахмаленной кисеи.

<sup>13</sup> Порода кур.

Усомниться в собственной взрослости означало поколебать уверенность в себе. Она испугалась; ей казалось, что ее сердце одиноко бредет само по себе. Так и было. Так бывает со всеми. Волшебство закончилось.

– Алабама, почему бы тебе не вернуться в залу?

– Я никогда не танцевала. Мне страшно.

– Ты получишь доллар, если станцуешь с молодым человеком, который поджидает тебя.

– Ладно. А что, если я упаду или он упадет из-за меня?

Рэндольф представил ее юноше. Все сошло вполне благополучно, только на поворотах кавалер вел ее не очень уверенно.

– Вы такая красивая, – сказал он. – Я думал, вы не из нашего города.

Алабама сказала, что он может как-нибудь прийти к ней в гости, потом была дюжина других, а потом она обещала рыжему мужчине, который скользил по полу так, будто снимал пенки с молока, поехать с ним в Загородный клуб. Прежде она даже вообразить не могла, каково это – назначить свидание.

На другой день, когда она умылась, от косметики не осталось и следа. Алабама расстроилась. Только запасы Дикси могли ее выручить – замаскировать для назначенных рандеву.

Окуная край утренней газеты в чашку с кофе, Судья читал подробный отчет о «Бале красавиц». «Талантливая мисс Дикси Беггс, старшая дочь Судьи и миссис Остин Беггс, – писала газета, – приложила много стараний для успеха предприятия, выступив в качестве импресарио своей не менее одаренной сестры, мисс Алабамы Беггс, и воспользовавшись помощью мистера Рэндольфа Макинтоша. Танец был потрясающей красоты, и исполнение было великолепным».

– Если Дикси думает, что ей дозволено превратить мой дом в бордель, она больше мне не дочь. Не хватало только, чтобы ее выставляли в газетах этакой козой отпущения для здешних вульгарных сборищ! Моим детям следует уважать мое имя. Это все, что у них есть, – взорвался Судья.

Ничего подобного Алабама прежде от отца не слышала. Утратив из-за своего блестящего ума надежду на нормальное общение, Судья жил сам по себе, потихоньку мирно развлекаясь за счет юридического сообщества, требуя только должного почтения к его отшельничеству.

Днем пришел Рэндольф, чтобы попрощаться.

Скрипнула дверь, и «Дороти Перкинс»<sup>14</sup> сразу потемнела в облаке солнечной пыли. Усевшись на крыльчке, Алабама стала поливать газон из нагретого шланга, поливая заодно и платье. Ей было грустно, ведь она рассчитывала, что при удобном случае опять поцелует Рэндольфа. Как бы то ни было, решила Алабама, тот поцелуй она постарается запомнить на многие годы.

Дикси не отрывала глаз от пальцев Рэндольфа, словно ждала, что он возьмет ее за руку и уведет на край земли.

– Может быть, ты вернешься, когда получишь развод? – услышала Алабама дрожащий голос сестры.

Взгляд Рэндольфа был отягощен окончательностью решения, даже розы не могли его смягчить. А голос звучал твердо и четко.

– Дикси, – проговорил он, – ты научила меня пользоваться ножом и вилок, танцевать и выбирать костюмы, но я бы не пришел в дом твоего отца, не приведи меня сюда Иисус. Для твоего отца все плохи.

Наверняка не пришел бы. Алабама уже знала, если в разговоре поминают Спасителя, не жди ничего хорошего. Память о первом поцелуе улетучилась вместе с надеждой на его повторение.

Обычно наманикюренные, ногти на руках Дикси стали желтыми, да и румяна были небрежно нанесены на щеки. Она бросила работу в газете и устроилась в банк. Алабаме

---

<sup>14</sup> Сорт роз.

досталась ее розовая шляпа, а красивую заколку кто-то раздавил. Когда Джоанна вернулась домой, комната оказалась до того грязной, что ей пришлось призвать на помощь Алабаму. Дикси копила деньги. За год она не купила ничего, кроме репродукций центральных фигур из «Весны» Боттичелли и немецкой литографии «Сентябрьского утра»<sup>15</sup>.

Фрамугу над дверью Дикси заклеила картоном, чтобы отец не знал о посиделках за полночь. Подруги появлялись и исчезали. Когда Лора как-то осталась на ночь, все испугались, как бы не подхватить туберкулез; у золотоволосой и лучезарноглазой Полю отец выступал за смертную казнь; у прелестной и злой Маршалл было много врагов и плохая репутация; когда же Джесси проделала долгий путь из самого Нью-Йорка, то отослала чулки в химчистку. Во всем этом было что-то непристойное на вкус Остина Беггса.

– Не понимаю, – говорил он, – почему моя дочь выбирает себе подруг из всякой грязи.

– Это как посмотреть, – возражала Милли. – Иногда грязь может оказаться весьма ценной.

Подруги Дикси читали друг дружке вслух. Сидя в маленькой белой качалке, Алабама внимательно слушала, перенимая их элегантность и мысленно составляя каталог вежливых смешков, которые они перенимали друг у друга.

– Она не поймет, – повторяли они, глядя на девочку с неведомо откуда взявшимися англосаксонскими глазами.

– Не поймет чего? – любопытствовала Алабама.

Зима задыхалась в девичьих рюшах. Дикси плакала, когда какому-нибудь мужчине удалось добиться от нее свидания. А весной прошел слух о смерти Рэндольфа.

– Ненавижу жизнь! – в истерике кричала Дикси. – Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Если бы я могла выйти за него замуж, этого не случилось бы.

– Милли, вызови врача!

– Ничего серьезного, Судья Беггс, у нее немного сдали нервы, – сказал доктор. – Не волнуйтесь.

– Не могу больше терпеть все эти ваши эмоции, – заявил Остин.

Дикси поправилась и нашла работу в Нью-Йорке. Прощаясь с родными, она плакала и не выпускала из рук букетик анютиных глазок. В Нью-Йорке она поселилась на Мэдисон-авеню вместе с Джесси и встречалась со всеми, кто приезжал из родного города. Работу ей подыскала Джесси – в той же страховой фирме, в которой работала сама.

– Мама, я хочу поехать в Нью-Йорк, – сказала Алабама, когда они читали письма Дикси.

– Это еще зачем?

– Чтобы мной никто не командовал.

Милли засмеялась.

– Пустяки. Чтобы тобой не командовали, не надо куда-то ехать. Почему бы не добиться этого дома?

Через три месяца Дикси вышла замуж – за уроженца штата Алабама. Когда они приехали после свадьбы, Дикси пролила много слез, словно оплакивая членов своей семьи, которым приходится жить тут. Она поменяла мебель в старом доме, купила буфет в столовую. Купила Алабаме «Кодак», и они вместе снимались и на лестнице Капитолия их штата, и под орехами, и, взявшись за руки, на парадном крыльце родительского дома. Она попросила Милли простегать для нее лоскутное одеяло и посадить розы за старым домом, а Алабаму – не краситься слишком сильно, потому что она слишком юна для этого, в Нью-Йорке девочки так не делают.

– Но я же не в Нью-Йорке, – возразила Алабама. – Но даже если приеду в Нью-Йорк, все равно буду краситься.

<sup>15</sup> Картина *Поля Шаба* (1869–1937).

Потом Дикси с мужем уехали – прочь от южной хандры. В день отъезда сестры Алабама сидела на заднем крыльце и смотрела, как мать режет помидоры к ланчу.

– Лук я режу заранее, за час, – сказала Милли, – а потом вынимаю его, чтобы в салате оставался только его аромат.

– Ага. Можно мне перышки?

– Хочешь целый, с головкой?

– Не-а. Мне нравится зеленый.

Мать Алабамы была похожа на хозяйку замка, помогавшую бедной крестьянке. У мисс Милли были добрые хозяйские и личные отношения с помидорами, которые ее властью оказывались в салате. Припухшие веки над голубыми глазами были устало приподняты, в нищенских условиях творила она добрыми руками милосердные поступки. Одна дочь уехала. Но кое-что от Дикси было и в Алабаме – буйство. Она вглядывалась в лицо девочки, ища фамильное сходство. А Джоанна еще вернется домой.

– Мама, ты очень любила Дикси?

– Я и сейчас ее очень люблю.

– Но от нее много беспокойства.

– Да нет. Просто она всегда влюблена.

– Ты любишь ее больше, чем, например, меня?

– Я люблю тебя не меньше.

– Но от меня тоже не будет покоя, если я не буду делать что хочу.

– Знаешь, Алабама, такое со всеми бывает. Кому то не так, кому это – просто нельзя давать себе воли.

– Да, мама.

За решеткой, похожие на экзотические украшения, созревали гранаты в бархатной шкурке. В глубине сада бронзовые шары траурного мирта раскалывались, выпуская бледно-лиловые кисейные пузыри. Японские сливы закидывали тяжелые кули, набитые летом, на крышу птичника.

*Кудах-кудах-кудах!*

– Наверное, старая курица опять несется.

– Или хруща съела?

– Хрущей нет, ведь фиги еще не созрели.

Соседка напротив стала звать детей домой. У других соседей закурьлыкали голуби, и из их кухни послышались ритмичные шлепки переворачиваемых бифштексов.

– Мам, я не понимаю, зачем Дикси понадобилось ехать в Нью-Йорк и там искать себе здешнего мужа?

– Он очень хороший человек.

– Будь я на месте Дикси, ни за что не вышла бы за него замуж. Я бы нашла себе нью-оркца.

– Почему? – удивилась Милли.

– Ну, не знаю.

– Потруднее было бы? – усмехнулась Милли.

– Да, правильно.

Издали донесся скрежет трамвая, тормозящего на ржавых рельсах.

– Это трамвай, да? Держу пари, сейчас придет твой отец.

## II

– Говорю тебе, не надену я это, пока не переделаешь! – визжала Алабама, колотя кулаком по швейной машинке.

– Но, дорогая, получилось очень красиво.

– Ладно, пусть из синей саржи, но зачем такое длинное?

– Раз ходишь на свидания с мальчиками, забудь о коротких платьях.

– Но я ведь не устраиваю свидания днем, – возразила Алабама. – Днем я буду танцевать, а на свидания буду ходить вечером.

Алабама так и так поворачивала зеркало, чтобы получше разглядеть сшитую клиньями длинную юбку. И расплакалась в бессильной ярости.

– Такую мне не надо! Не надо!.. Как в ней бегать и вообще?

– Красиво, правда, Джоанна?

– Будь это моя дочь, я бы залепила ей пощечину, – отозвалась Джоанна.

– Ты бы! Ты бы! Я бы сама тебе залепила.

– Я в твоём возрасте, когда мне шили хоть что-то новое, всегда радовалась, ведь я постоянно донашивала вещи Дикси. Тебя просто чудовищно избаловали, – не унималась Джоанна.

– Не надо, Джоанна! Алабама всего лишь хочет покороче.

– Маленький ангелочек! А мне помнится, она хотела как раз такую длину.

– Откуда мне было знать, что так будет смотреться?

– Я бы знала, как тебя приструнить, будь ты моей дочерью, – с угрозой произнесла Джоанна.

Алабама, стоя на теплом субботнем солнце, разглаживала матросский воротник. Потом осторожно сунула пальцы в нагрудный карман, не отрывая недовольного взгляда от своего отражения в зеркале.

– В этой юбке у меня как будто не мои ноги, – проговорила она. – А впрочем, может быть, и ничего.

– Никогда не слышала столько криков из-за платья, – сказала Джоанна. – На месте мамы я бы покупала тебе готовые.

– То, что в магазинах, мне не нравится. Кстати, у тебя все отделано кружевом.

– Но я же сама плачу.

Стукнула дверь в комнате Остина.

– Алабама, хватит спорить! Я хочу подремать.

– Девочки, папа! – испугалась Милли.

– Сэр, я не виновата, это Джоанна! – взвизгнула Алабама.

– Господи! Она всегда на кого-нибудь кивает. Не я, так мама виновата или любой другой, кто подвернется под руку. Сама же она всегда ни при чем.

Алабама удрученно подумала о том, как несправедлива жизнь, которая сначала создала Джоанну, а уж потом ее. Мало того, она еще наделила сестру недостижимой красотой, она была прекрасна, как черный опал. Что бы Алабама ни делала, ей все равно не удалось бы изменить цвет глаз на этот золотисто-карий и она не могла заполучить эти загадочно оттененные скулы. Когда на Джоанну падал прямой свет, она была похожа на блеклый призрак самой себя, своей красоты. От ее зубов исходило прозрачное голубое сияние, и волосы были до того гладкими, что казались бесцветными из-за блеска.

Все считали Джою милой девочкой – в сравнении с другими сестрами. Когда ей перевалило за двадцать, Джоанна как будто завоевала право быть в центре родительских интересов. Стоило Алабаме услышать, как отец с матерью сдержанно что-то обсуждают насчет Джоанны, она тут же в этих редких родительских погружениях в прошлое отлавливала то, что, как ей

казалось, могло принадлежать и ей. Ей было очень важно узнавать то об одном, то о другом семейном наследии, которое, возможно, перешло к ней, это все равно как удостовериться в том, что у нее все пять пальцев на ноге, потому что пока ей удалось насчитать только четыре. Здорово, когда есть какие-никакие опознавательные знаки, благодаря которым можно еще что-то разведать.

– Милли, – как-то вечером озабоченным тоном спросил Остин, – как ты думаешь, Джои в самом деле собирается замуж за сына Эктонов?

– Не знаю, дорогой.

– Полагаю, ей не стоит всюду разъезжать с ним и посещать его родственников, если тут ничего серьезного. К тому же она слишком часто встречается с Гарланом.

– Я тоже нанесла визит Эктонам, ведь они нам родственники по моему отцу. Почему же ты разрешаешь ей?

– Я не знал о Гарлане. Есть обязательства...

– Мама, а ты хорошо помнишь своего папу? – вмешалась в разговор Алабама.

– Конечно. Когда ему было восемьдесят три года, лошадь выбросила его из повозки. На скачках в Кентукки.

То, что у маминого папы была своя яркая жизнь, которую можно так или иначе использовать, звучало для Алабамы весьма многообещающе. Это тоже пригодится для спектакля. Она рассчитывала на время, которое само обо всем позаботится и само – обязательно – предоставит ей случай разыграть историю своей жизни.

– Так что там с Гарланом? – стоял на своем Остин.

– Да ладно тебе! – уклонилась от ответа Милли.

– Не знаю. Джои как будто от него в восторге. А ведь у него ни гроша. Зато Эктон твердо стоит на ногах. Я не могу позволить своей дочери выйти замуж за нищего.

Гарлан приходил каждый вечер и вместе с Джоанной пел песни, которые она привезла из Кентукки: «Время, место и девушка», «Девушка из Саскачевана», «Шоколадный солдатик»<sup>16</sup>, песни из книг с двухцветными литографиями на обложках, изображавшими мужчин с трубками, принцев на балюстрадах и луну в облаках. Голос у него был звучный, как орган. Очень часто Гарлан засиживался до ужина. Кстати, у него были такие длинные ноги, что все остальное казалось неким декоративным приложением к ним.

Алабама придумывала танцы и показывала их Гарлану, аккуратно ступая вокруг ковра.

– Он когда-нибудь отправится к себе домой? – каждый раз Остин спрашивал у Милли. – Не понимаю, о чем думает Эктон. Джоанна не должна быть такой безответственной.

Гарлан умел добиваться расположения. Но Остина не устраивал его статус. Если бы Джоанна вышла за него замуж, ей пришлось бы начинать с того, с чего начинали Судья и Милли, вот только у Остина не было скаковых лошадей, чтобы поддержать ее в первое время, как это делал отец Милли.

– Привет, Алабама. У тебя прелестный нагрудничек.

Алабама зарумянилась. Однако старалась не показать, как ей приятно. Насколько ей помнилось, покраснела она тогда впервые; и это было еще одним убедительным доказательством того, что все ее реакции заложены в ней наследственностью – смущение и гордость, и умение с ними справиться.

– Это фартук. Мне сшили новое платье, а пришлось помогать на кухне с ужином.

И она продемонстрировала восхищенному Гарлану новое саржевое платье.

Тот посадил долговязую девочку на колени.

Во что бы то ни стало желая продлить разговор о себе, Алабама торопливо продолжала:

---

<sup>16</sup> «Время, место и девушка» (1907) – вальс из мюзикла *Джозефа Е. Говарда*, «Шоколадный солдатик» (1908) – вальс из оперетты *Оскара Штрауса* (1870–1954), «Девушка из Саскачевана» – популярный вальс.

– У меня есть очень красивое платье для танцев, даже красивее, чем у Джоанны.

– Рано тебе ходить на танцы. Ты еще такой ребенок, что мне даже стыдно поцеловать тебя.

Алабама была разочарована столь отеческим обращением. Гарлан убрал светлую прядку с ее застывшего лица, на котором мгновенно обозначились геометрически ровные тени и свечающиеся выпуклости и отразилась покорность одалиски. Черты этого личика были строгими, как у отца, но чистота мускульных линий выдавала ее совсем еще раннюю юность.

Пришел Остин в поисках газеты.

– Алабама, ты уже слишком взрослая, чтобы сидеть на коленях у мужчины.

– Но, папа, он не *мой* кавалер!

– Добрый вечер, Судья.

Судья задумчиво сплюнул в камин, стараясь сдержать раздражение.

– Все равно. Ты уже взрослая.

– Теперь я всегда буду взрослой?

Спихнув Алабаму с колен, Гарлан вскочил. В дверях стояла Джоанна.

– Мисс Джои Беггс, – объявил он, – самая красивая девушка нашего города!

Джоанна хихикнула как человек, знающий себе цену, но не желающий подчеркивать свое превосходство, щадя чувства окружающих – словно ей всегда было известно, что она краше всех.

С завистью Алабама смотрела, как Гарлан подает Джои пальто и по-хозяйски уводит ее из дома. Она рассудительно отмечала, как, доверяя себя мужчине, сестра становится все более нерешительной, более вкрадчивой. Алабаме хотелось оказаться на ее месте. За ужином будет отец. Это почти то же самое; необходимость быть другой, не такой, какая ты на самом деле, – вот в каком смысле то же самое. Алабаме пришло в голову, что отец совсем не знает, какая она.

Ужин бывал забавным; тост с угольным привкусом и иногда цыпленок – теплый, как будто из-под одеяла, под церемониальные беседы Милли и Судьи о хозяйстве и детях. Семейная жизнь превратилась в ритуальное действо, пройдя через сито глубоких убеждений Остина.

– Я хочу еще клубничного джема.

– А живот не заболит?

– Милли, я считаю, что уважающей себя девушке негоже быть обрученной с одним мужчиной и позволять себе интересоваться другим.

– Ничего страшного. Джоанна хорошая девочка. И она не обручена с Эктоном.

Но на самом деле мама знала, что Джоанна обручена с Эктоном, потому что однажды летним вечером, когда дождь лил как из ведра и шумел, как подобранные шелковые юбки, когда вода в водостоках печально курлыкала по-голубиному и текла пенными потоками, Милли послала Алабаму с зонтиком к Джоанне. Алабама застала обоих тесно прижавшимися друг к другу, как намокшие марки в записной книжке. Потом Эктон сказал Милли, что они собираются пожениться. А Гарлан присылал по воскресеньям розы. Один Бог знал, где он брал деньги на цветы. Но попросить руки Джоанны он не смел – из-за своей бедности.

Когда зацвели и похорошели городские парки, Гарлан и Джоанна стали брать Алабаму с собой на прогулки. И Алабама, и большие магнолии с листьями, как шершавое железо, и кусты калины и заросли вербены, и лепестки японской магнолии, устилавшие газоны и напоминавшие лоскуты от вечерних платьев, укрепляли связывавшие молодых людей тайные узы. При Алабаме Джоанна и Гарлан беседовали о пустяках. При ней они не давали себе воли.

– Когда у меня будет свой дом, мне хотелось бы иметь такой куст, – сказала Джоанна.

– Джои! У меня нет денег! Давай я лучше отращу бороду! – взмолился Гарлан.

– Мне нравятся невысокие деревья, туя, можжевельник, и у меня обязательно будет тропинка между ними, похожая на шов в елочку, а в конце я устрою террасу, как у Клотильды Суперг.

Алабама решила, что не суть важно, думает ее сестра о Гарлане или об Эктоне, зато сад у нее будет замечательный – или об обоих сразу, в замешательстве поправила себя Алабама.

– О Господи! Почему у меня нет денег! – воскликнул Гарлан.

Та весна запомнилась Алабаме желтыми флагами, похожими на листья из анатомического атласа, прудами с лотосами, коричнево-белым батиком словно присыпанных снегом цветущих кустов, неожиданным жаром от легких прикосновений и мертвенной фарфоровой бледностью лица Джои, затененного соломенной шляпкой. Алабама интуитивно понимала, почему Гарлан звенит ключами в кармане, где никогда не было денег, и почему, пошатываясь, бредет по улицам, словно тащит тяжелое бревно. У других людей деньги были, а ему хватало лишь на розы. Даже без покупки роз у него все равно еще очень долго ничего не было бы, а тем временем Джоанна все равно ушла бы, разлюбила бы его, была бы потеряна навсегда.

Когда воцарялась жара, они нанимали легкую двухместную коляску с откидным верхом и ехали по пыльной дороге на луга с ромашками, как в детских стихах, где сонные коровы, оседланные тенями, сжевывали лето с белых склонов. Алабама шла позади и рвала цветы. Ей казалось особенно важным то, что она произносила в этом чужом мире затаенных чувств, и была похожа на человека, который воображает, будто сильно поумнел, заговорив на незнакомом языке. Джоанна жаловалась Милли, что Алабама слишком много болтает для своего возраста.

Скрипя и качаясь, как парусник в бурном море, любовный сюжет одолел июнь. Наконец пришло письмо от Эктона. Алабама заметила его на каминной полке в комнате Судьи.

«И, будучи в состоянии окружить Вашу дочь необходимым комфортом, а также, надеюсь, счастьем, я прошу Вашего согласия на наш брак».

Алабама пожелала сохранить письмо.

– Пусть будет в семейном архиве, – сказала она.

– Нет, – возразил Судья Беггс.

Он и Милли никогда ничего не хранили.

В ожиданиях Алабамы в отношении сестры было предусмотрено как будто все, но она не учла, что любовь может катить и дальше, забирая с собой тела павших, чтобы закрыть ими воронки от бомб на пути к очередной линии фронта. Много времени понадобилось Алабаме, чтобы научиться думать о жизни без романтических фантазий, как о длинной и непрерывной череде отдельных событий, где всякий эмоциональный опыт служит подспорьем в подготовке к другому.

Когда Джои произнесла свое «да», Алабаме показалось, что ее обманули и не показали долгожданный спектакль, на который она купила билет. «Сегодня шоу отменяется, премьерша подхватила простуду», – мысленно произнесла она.

Неизвестно, плакала Джоанна или не плакала, пока Алабама начищала белые комнатные туфли в верхнем холле. Ей была видна кровать Джоанны: казалось, сестра уложила себя, а сама ушла, но потом забыла вернуться, из ее спальни не доносилось ни звука.

– Почему ты не хочешь выйти замуж за Эктона? – услышала Алабама кроткий голос отца.

– Ах... У меня нет сундука, да теперь еще придется уехать, и платья у меня все старые, – уклонилась от ответа Джоанна.

– Сундук я дам, Джои, а он даст тебе и платья, и новый дом, и все остальное.

Судья был ласков с Джоанной. Она меньше всех походила на него; из-за своей застенчивости она казалась более сдержанной и менее приспособленной к тому, чтобы нести свой крест, – менее, чем Алабама и Дикси.

Жара давила на все живое на земле, раздувая тени, распахивая окна и двери, пока лето не расколослось в жутком ударе грома. При свете молний было видно, как деревья тянутся в маниакальном порыве вверх и размахивают ветками, словно фурии – руками. Алабама знала, что Джоанна боится грозы. Она тихонько залезла в кровать сестры и обняла ее загорелой рукой,

словно укрепляя прочным засовом ненадежную дверь. У Алабамы не было сомнений в том, что Джоанна поступит правильно и сделает правильный выбор; теперь она понимала, как это важно – особенно для Джоанны, которая всегда и во всем любила порядок. Ведь и Алабама была такой же иногда, по воскресеньям, когда оставалась одна в доме, в котором царил первозданная тишина.

Алабаме хотелось успокоить сестру. Ей хотелось сказать: «Послушай, Джои, если тебе так жалко магнолии и ромашковые поля, не бойся их забыть, я обязательно расскажу тебе, каково это – чувствовать то, что ты уже забудешь, – ведь когда-нибудь через много лет со мной случится что-то такое, что напомнит тебе о сегодняшнем».

– Убирайся с моей кровати, – внезапно сказала Джоанна.

И Алабама печально бродила по дому, то ныряя, то выныривая из белых ацетиленовых вспышек света.

– Мама, Джои боится.

– Дорогая, не хочешь полежать со мной?

– Я не боюсь. Просто не могу спать. Но я бы полежала с тобой, если можно.

Судья часто засиживался за чтением Филдинга. Зажав нужную страницу большим пальцем, он закрыл книгу, отметив таким образом конец дня.

– Что за служба в католических соборах? – спросил Судья. – Гарлан католик?

– Нет, думаю, нет.

– Я рад, что она решила выйти за Эктона, – с непроницаемым лицом проговорил Судья.

У Алабамы был мудрый отец. Своими предпочтениями в отношении женщин он сотворил и Милли и девочек. Он все знает, говорила себе Алабама. Наверное, так оно и было. Если знание – это иметь свое отношение к не испытанному на своем опыте и стойкое отрицательное отношение к испытанному, то она не ошибалась.

– Мне грустно, – решительно заявила Алабама. – У Гарлана прическа, как у испанского короля. Лучше бы Джои вышла замуж за него.

– На прическу испанского короля не проживешь, – парировал Остин.

Эктон телеграфировал о том, что приезжает в конце недели и что он очень счастлив.

Гарлан и Джоанна качались на качелях – дребезжавшая цепь скрипела, они стояли на облезшей серой доске и на лету сбивали цветы с вьюнков.

– На этом крыльце всегда так хорошо и прохладно, как нигде больше, – сказал Гарлан.

– Потому что здесь пахнет жимолостью и жасмином, – проговорила Джоанна.

– Нет, – сказала Милли, – напротив, через дорогу, скосили сено, пахнет им и еще здесь пахнет моей душистой геранью.

– Ох, мисс Милли, мне не хочется уходить.

– Вы еще вернетесь.

– Нет, не вернусь.

– Простите, Гарлан... – Милли поцеловала его в щеку. – Не расстраивайтесь, ведь вы еще почти ребенок. Будут другие девушки.

– Мама, это груши так пахнут, – прошептала Джоанна.

– Это мои духи, – с раздражением заявила Алабама, – и они, между прочим, стоят шесть долларов за унцию.

Гарлан прислал корзинку раков к ужину, на который был приглашен Эктон. Раки ползали по кухне, залезали под плиту, и Милли одного за другим бросала их живыми и зелеными в кастрюлю с кипятком.

Все ели их, кроме Джоанны.

– Слишком они неуклюжие, – сказала она.

– Наверняка объявились в животном мире в тот момент, когда началось бурное развитие техники. Прут как танки.

– Они едят мертвых людей, – заявила Джоанна.

– Джои, зачем же так за столом?

– Ничего не попишешь, – с неприязнью произнесла Милли, – едят.

– Мне кажется, я могла бы сделать такого рака, было бы из чего, – вмешалась Алабама.

– Хорошо съездили, мистер Эктон?

Весь дом был заполнен приданным Джоанной – платьями из синей тафты, в черно-белую клетку, из перламутрово-розового атласа, с бирюзово-синей талией, а также черными замшевыми туфлями.

Коричневый и желтый шелк, кружева, шотландка, строгий костюм и мешочки с розовыми сухими лепестками заполняли новый сундук.

– Не хочу такой фасон, – рыдала Джоанна. – У меня слишком большая грудь.

– Тебе очень идет, да и пригодится в городе.

– Вы должны навестить меня, – говорила Джоанна подругам. – Будете в Кентукки, приходите. Потом мы переберемся в Нью-Йорк.

Джоанна волновалась и подспудно протестовала против предстоящей жизни, как щенок, которому не дает покоя шнурок от ботинка. Ее раздражал Эктон, и в то же время она чего-то постоянно требовала от него, словно ждала, что посредством обручального кольца он обеспечит ей полный набор радостей.

Они уехали ночью. Джоанна не плакала, но, кажется, стыдилась того, что готова заплакать. Пересекая железнодорожные пути, когда возвращались назад, Алабама, как никогда прежде, ощущала силу и власть Остина. Джоанну произвели на свет, вырастили и выставили вон. Расставшись с Джоанной, отец как будто состарил ее; отныне между ним и его абсолютной властью над прошлым было только будущее Алабамы. Она оставалась единственной неразрешенной проблемой, унаследованной им из его молодости.

Алабама думала о Джоанне. И вот к какому выводу она пришла. Любить – это всего-навсего отдать другому человеку свое прошлое, из которого многое уже сделалось таким громоздким, что в одиночку с ним не справиться. Искать любовь все равно что искать еще один пункт отправления, размышляла она, еще один шанс начать новую жизнь. Не по годам развитая, Алабама думала еще и о том, что человек ищет другого человека вовсе не затем, чтобы разделить с ним будущее, жадно приберегая для себя свои тайные ожидания. Ей иногда приходили в голову замечательные и, как правило, невеселые мысли, но они никак не отражались на ее поведении. В свои семнадцать она стала философом-гурманом и отбирала возможности, обглаживая кости разочарований, оставшиеся после семейных скромных трапез. Надо сказать, в ней было много от отца, который судил и рядил все, независимо от нее.

Вслед за ним она не понимала, почему не может длиться вечно живое и важное ощущение сопричастия, преодолевающее статическую рутину. Со всем остальным дело как будто обстояло неплохо. Она, как и отец, наслаждалась быстротой и полнотой сестринского перемещения из одной семьи в другую.

Однако без Джоанны в доме стало тоскливо. Но Алабама могла почти целиком оживлять образ сестры в памяти – по тем мелочам, что та не забрала с собой.

– Когда мне грустно, я работаю, – сказала мама.

– Не понимаю, как ты научилась хорошо шить.

– Училась на вас.

– Только пусть это платье будет совсем без рукавов, а розы поместим на плече, ладно?

– Ладно, как хочешь. Руки у меня стали грубые, не годятся для шелка, и шью я хуже, чем прежде.

– А какой чудесный материал. Мне оно очень идет, больше, чем Джоанне.

Алабама прикинула на себя летящий шелк, чтобы увидеть, как он будет плескаться на ветру и как смотрелся бы в музее на Венере Милосской.

«Вот прямо бы сейчас и на танцы, – подумала Алабама, – это было бы здорово. А то ведь вконец измучаешься».

– Алабама, *о чем* ты думаешь?

– О развлечениях.

– Хорошее дело.

– И еще о том, какая она красивая, – поддразнил ее отец. Посвященный в маленькие тайны семьи, Остин, который был совершенно лишен тщеславия, с любопытством открывал его в своих детях. – Все любит себя в зеркале.

– Папа! Я не люблюсь!

Алабама знала, что действительно смотрится в зеркало чаще не просто из удовольствия, она постоянно надеется увидеть в нем нечто большее, чем есть на самом деле.

Алабама обвела смущенным взглядом кучу ничейных вещей в соседней комнате, похожую на куст примулы за окном. Горели на солнце пять медных щитов ярко-красного гибискуса, перед сараем алтей клонил к земле бледно-розовый балдахин, Юг как бы приглашал всех на вечеринку – не определяя точного адреса.

– Милли, запрети ей загорать дочерна, если она собирается носить такие платья.

– Она же еще ребенок, Остин.

Ради танцев перешивали розовое платье Джоанны. Мисс Милли с трудом разогнула спину. В доме было слишком душно. Не успевала она слегка взбить волосы с одной стороны, как с другой они прилипли к шее. Она принесла себе холодный лимонад. Пудра вокруг носа сбилась в сухие круги. Милли и Алабама вышли на крыльцо. Алабама села на качели, которые были для нее своего рода музыкальным инструментом; раскачивая цепи, можно было сотворить веселую мелодию или убаюкивающий протест против скучного свидания. Алабама уже давно была готова отправиться на бал, подготовиться еще лучше было попросту невозможно. Почему же никто не идет и не звонит? Почему ничего не происходит? У соседей часы пробили десять раз.

– Если сейчас же никто не придет, все пропало, – как бы между прочим проговорила Алабама, делая вид, будто ее не волнует, пропустит она танцы или не пропустит.

Далекое судорожное рыдание разорвало тишину летнего вечера. С улицы донеслись, одолев знойное марево, крики мальчишки-газетчика.

– Покупайте газету! Покупайте газету! Новости! Читайте новости!

Его голос летал из стороны в сторону, вверх-вниз, словно эхо в соборе.

– Мальчик, что случилось?

– Не знаю, мэм.

– Пойди сюда! Дай мне газету!

– Это ужасно, папа! Что теперь будет?

– Будет война.

– Но их же предупредили, чтобы они не плыли на «Лузитании»<sup>17</sup>, – сказала Милли.

Остин раздраженно откинул назад голову.

– Как можно? – отозвался он. – Они не имеют права предупреждать граждан нейтральных стран.

Автомобиль с мальчишками затормозил на обочине. В темноте раздался долгий пронзительный свист, но ни один из мальчишек не вышел из машины.

– Ты не покинешь дом, пока они сами не изволят за тобой зайти, – строго произнес Судья.

---

<sup>17</sup> 7 мая 1915 г. немцы потопили британский пассажирский лайнер «Лузитания», что вызвало бурю протестов в США и послужило одной из причин вступления США в Первую мировую войну.

Освещенный лампой в холле, он казался очень красивым и серьезным – таким же серьезным, как предполагаемая война. Алабама стало стыдно за своих приятелей, как только она сравнила их с отцом. Один из мальчиков вылез из автомобиля и открыл калитку; и Алабама и отец назвали бы это компромиссом.

«Война! Будет война!» – думала она.

От возбуждения сердце едва не выпрыгивало у нее из груди, и она так высоко поднимала ноги, что, казалось, летела над лестницей, устремившись к ожидавшему ее автомобилю.

– Будет война, – сказала Алабама.

– Вот и повеселимся на танцах, – отозвался ее эскорт.

Весь вечер Алабама думала о войне. Теперь начнется другая жизнь, и будут другие удовольствия. С юношеским нищестанством Алабама уже предвкушала, что благодаря мировому катаклизму избавится от ощущения удушья, и новые ощущения затмят и семью, и сестру, и мать. Алабама говорила себе, что будет с улыбкой шагать по высотам, останавливаясь, чтобы нарушать правила, грешить и любить, а если цена будет слишком высока... ну, не стоит жадничать заранее. Переполненная подобными самонадеянными заключениями, Алабама обещала себе, что, если в будущем ее душа изголодается и будет молить о хлебе, пусть ест камень, который она предложит ей без сожалений и раскаяния. Она без устали убеждала себя в том, что главное – при первой же возможности взять желаемое. И она старалась добиться своего.

### III

– Эта оказалась самой неукротимой, но и самой стоящей из девочек Бегтс, – говорили в округе.

Алабама было известно все, что о ней говорили, – рядом с ней было так много юношей, жаждавших «защитить» ее, что избежать сплетен оказалось невозможно. Она откидывалась назад, раскачивая качели, и старалась представить себя такой, какой ее представляли другие.

«Стоящая, – думала она, – означает, что я никогда не обману их ожиданий, я и правда жутко способная – мои шоу чертовски хороши».

«Он очень похож на чистопородного пса, – думала она о высоком офицере, который стоял рядом с ней, – на гончую, благородную гончую! Интересно, он может достать ушами до кончика носа?» Она уже не воспринимала его как мужчину, увлекшись сравнением.

У офицера было длинное печально-сентиментальное лицо, наиболее выдающаяся точка которого находилась на кончике чувствительного носа. Время от времени офицер яростно себя ругал, просто разрывал в клочья и обрушивал эти клочья ей на голову. Несомненно, его терзали муки любви.

– Маленькая леди, как вы думаете, вам хватило бы пяти тысяч в год? – спросил он, открывая свою душу. – Для начала, – подумав, добавил он.

– Хватило бы, но я не хочу жить на пять тысяч.

– Тогда почему вы поцеловали меня?

– Никогда еще не целовалась с усатым мужчиной.

– Вряд ли это может служить объяснением...

– Вы правы. Но это объяснение ничем не хуже тех, которыми многие прикрывают свой уход в монастырь.

– Тогда мне нет смысла оставаться дольше, – печально проговорил офицер.

– Наверно, нет. Уже половина двенадцатого.

– Алабама, вы совершенно невыносимы. Вам известно, какая у вас репутация? А я все равно предлагаю вам руку и сердце...

– И сердитесь, потому что я не делаю из вас жертву, честного мужчину.

Молодой человек тут же стушевался и словно бы спрятался за обезличивающим всех военным мундиром.

– Вы пожалеете, – недовольно проговорил он.

– Надеюсь, – ответила Алабама. – Мне нравится платить за то, что я делаю, – тогда я чувствую себя в расчете со всем миром.

– Вы похожи на диких команчей. Зачем вам нужно притворяться злой и жестокосердной?

– Может быть, вы правы – в любом случае, в тот день, когда я раскаюсь, напишу «простите» в уголке приглашений на свадьбу.

– А я пришлю вам свою фотографию, чтобы вы не забыли меня.

– Хорошо – если хотите.

Алабама закрыла дверь на щеколду и выключила свет. Стоя в непроглядной темноте, она ждала, когда глаза начнут различать контуры лестницы. «Может быть, следовало бы выйти за него замуж, ведь мне скоро восемнадцать, – попыталась она размышлять здраво, – и он бы неплохо заботился обо мне. Пора подумать о будущем». С этими мыслями Алабама поднялась по лестнице.

– Алабама, – услышала она тихий, едва различимый голос матери, донесшийся к ней из потока темноты, – утром с тобой хочет поговорить твой отец. Не опаздывай на завтрак.

Сидевший за столом с серебряными приборами судья Остин Бегтс выглядел человеком уверенным, трезво мыслящим и глубоко погруженным в свои мысли. Он был похожим на выда-

ющегося спортсмена, замершего в неподвижности, – перед тем моментом, когда ему надо выложиться до конца.

Он сразу постарался взять верх над Алабамой.

– Имей в виду, я не позволю, чтобы из-за тебя мое имя трепали на всех углах.

– Остин! Да она же только что окончила школу, – Милли попробовала урезонить мужа.

– Тем более. Что тебе известно об этих офицерах?

– По-жа-луй-ста...

– Джо Ингхэм рассказал мне, что его дочь привезли домой неприлично пьяной, и она созналась, что это ты напоила ее.

– Она сама пила. Мы праздновали новый набор в офицерской школе, и я налила джин в медицинскую фляжку.

– И заставила девчонку выпить?

– Ну уж нет! Когда она увидела, как все смеются, то решила присоседиться к моей шутке, ведь самой ей ни за что ничего путного не придумать, – спесиво произнесла Алабама.

– Отныне тебе придется вести себя более осмотрительно.

– Да, сэр. Ох, папа! До чего же я устала сидеть на крыльчке, ходить на свидания и смотреть, как все погано.

– Мне кажется, у тебя и так хватает дел, и необязательно развращать окружающих.

«Какие дела, кроме как пить и любить?» – мысленно откликнулась Алабама.

Она остро ощущала собственную никчемность, бессмысленность такой вот жизни, когда июньские насекомые обсыпали липкие плоды на фиговом дереве и тучи неподвижных мух – всякую гниль. Скучная сухая трава под пеканами<sup>18</sup> кишела рыжевато-коричневыми гусеницами, стоило только к ней присмотреться. Спутанный в колтуны горошек высох на осенней жаре, и, как пустые раковины, свисали с перекладин на доме затвердевшие стручки. Солнечные лучи красили газон ровными желтыми мазками и ломались о спекшиеся хлопковые поля. Жирная земля, богато родившая в другое время, теперь лежала плоскими пластинами по обе стороны дороги, изредка морщась в обескураживающей усмешке. Невпопад пели птицы. Ни мул в поле, ни человек на песчаной дороге не могли вынести жару, клубящуюся между впадинами глинистыми берегами и негромко шелестящими кипарисами, которые отделяли военные лагеря от города – многие умирали от солнечного удара.

Вечернее солнце, запахнувшись в розовые небесные одеяния, следовало в город за автобусом с офицерами: юными лейтенантами, старыми лейтенантами, и те и другие получали увольнительные и отправлялись искать то объяснение мировой войны, которое мог им предложить маленький алабамский городок. Алабама знала их всех, но относилась к ним по-разному.

– Ваша жена в городе, капитан Фаррелей? – раздался голос в подпрыгивающем автобусе. – У вас как будто прекрасное настроение.

– Она здесь... Но я собираюсь повидать свою девушку. Вот и радуюсь, – коротко ответил капитан и начал тихонько что-то насвистывать.

– А...

Юный лейтенант не знал, что еще сказать, опасаясь, как бы это не прозвучало глупо – как поздравление с рождением мертвого ребенка. Не скажешь же: «Вот здорово!» Или: «Очень мило!» Но он мог бы сказать: «Знаете, капитан, это неприлично», – если бы хотел разыграть из себя блюстителя нравов.

– Что ж, удачи вам. У меня сегодня тоже свидание, – в конце концов проговорил лейтенант. – Удачи, – повторил он, желая показать, что свободен от моральных предрассудков.

– Вы все еще обхаживаете Беггс-стрит? – внезапно спросил капитан.

– Да, – ответил лейтенант и неловко засмеялся.

---

<sup>18</sup> Разновидность орехового дерева.

Автобус доставил военных в центр города, на притихшую площадь. На огромном пространстве, окруженном невысокими зданиями, он казался таким же крохотным, как карета на дворцовом дворе со старой гравюры. Приезд автобуса никак не сказался на сонном городке. Старая колымага избавилась от своего груза – пользующихся успехом у дам и едва сдерживающих себя мужчин, выбросив их в объятия перевернувшегося мира.

Капитан Фаррелей зашагал к стоянке такси.

– Беггс-стрит, дом пять, – с нарочитой самоуверенностью громко произнес он, специально для ушей лейтенанта. – И побыстрее.

Пока такси разворачивалось, Фаррелей с удовольствием прислушивался к смеху офицеров, доносившемуся из темноты.

– Привет, Алабама!

– А, это вы, Феликс!

– Меня зовут не Феликс.

– Но Феликс вам больше идет. А как вас зовут?

– Капитан Франклин Макферсон Фаррелей.

– Меня преследуют мысли о войне, поэтому я не могу запомнить.

– Я написал о вас стихи.

Алабама взяла у него листок бумаги и поднесла к свету, пробивавшемуся сквозь планки жалюзи, словно звуки музыки.

– Тут о Вест-Пойнте, – разочарованно проговорила она, – об академии.

– Это все равно, – отозвался Фаррелей. – То же самое я чувствую к вам.

– Тогда пусть эта ваша Военная академия сухопутных войск радуется тому, что вы любите ее серые глаза. Вы оставили последние стихи в такси или держите его на случай, вдруг я буду отстреливаться?

– Я действительно сказал шоферу, чтобы он ждал, потому что приглашаю вас покататься. Нам не стоит сегодня идти в клуб, – без тени улыбки произнес капитан.

– Феликс! – с укоризной воскликнула Алабама. – Вам ведь известно, что мне наплевать на сплетни. Никому и в голову не придет обсуждать, что мы вместе, – для хорошей войны нужно много солдат.

Алабаме было жаль Феликса. Он не хотел компрометировать ее, как это трогательно, на Алабаму нахлынула волна нежности и дружеского участия.

– Вы не должны обращать внимание.

– На сей раз дело в моей жене... Она приехала, – сухо проговорил Фаррелей, – и может быть там.

Он не извинился.

Алабама помедлила в нерешительности.

– Что ж, кататься так кататься, – наконец сказала она. – Потанцуем в следующую субботу.

Капитан Фаррелей принадлежал к вполне определенному типу мужчин: застегнутый на все пуговицы солдафон, из тех, что погрязли в чванливости жующей бифштексы Англии и торчат в барах, но он был в самое сердце поражен чистой, равнодушной к обидам, безоглядной любовью. Вновь и вновь он запевал «О, дамы, дамы», когда они катили вдоль горизонтов юности и залитой лунным светом войны. Южная луна – это кипящая луна, страстная. Когда она со сладостным неодолимым постоянством затопляет своим светом поля, неумолкающие песчаные дороги и густые изгороди из жимолости, борьба за принадлежность к реальной жизни похожа на протест против первого дуновения эфира. Он сомкнул руки на сухом тонком теле, от которого исходил аромат розы «чероки»<sup>19</sup> и гаваней в сумерках.

---

<sup>19</sup> Здесь: символ жизнестойкости и независимости.

– Я собираюсь добиваться перевода, – торопливо произнес Феликс.

– Почему?

– Не хочу падать из самолета и устраивать кучу-малу на дороге, подобно вашим прежним возлюбленным.

– Кто выпал из самолета?

– Ваш друг с лицом таксы и усами, когда направлялся в Атланту. Механик погиб, а лейтенанта судит трибунал.

– Страх, – сказала Алабама, чувствуя, что у нее сводит скулы от ужаса, – это ведь нервы, наверно, и всякие другие чувства тоже. Все равно надо быть собой и ни о чем не думать. А как это вышло? – все-таки поинтересовалась она.

Феликс покачал головой.

– Хотелось бы думать, что это был несчастный случай.

– Что толку расстраиваться из-за этого песика, – вышла из положения Алабама. – Люди, которые растрачивают свою душу на все подряд, они неразборчивы в чувствах, как проститутки; они безответственны по отношению к окружающим – никакого Уолтер-ролизма<sup>20</sup> мне не надо, – твердо сказала она.

– Знаете ли, у вас не было права завлекать его.

– Ну сейчас-то уже все.

– Для бедняги механика в больничной палате действительно уже все, – заметил Феликс.

Ее высокие скулы разрезали лунный свет, как серп режет спелую пшеницу. Армейскому человеку было непросто осудить Алабаму.

– А что у вас со светленьким лейтенантом, который ехал вместе со мной до города? – спросил Фаррелей.

– Боюсь, тут мне будет трудно оправдаться, – ответила Алабама.

Капитан Фаррелей изобразил судороги, будто он сейчас утонет. Он схватил себя за нос и сполз на пол.

– Бессердечная, – проговорил он. – Ничего, я справлюсь.

– Честь, Долг, Родина и Вест-Пойнт, – мечтательно отозвалась Алабама. И засмеялась. Они оба засмеялись. Было очень грустно.

– Беггс-стрит, дом пять, – продиктовал капитан Фаррелей таксисту. – Быстрее. Там пожар.

С началом войны в городе появились толпы мужчин, которые, как тучи голодной саранчи, поедали без разбора всех незамужних женщин, в избытке населявших Юг с тех пор, как его поразил экономический упадок. Был там майор маленького роста, но стремительный, как японский воин, так и сверкавший золотыми зубами; был ирландский капитан с глазами, как Бларнистоун<sup>21</sup>, и волосами, как горящий торф; были офицеры с белыми кругами вокруг глаз из-за темных очков и с припухшими от ветра и солнца носами; были мужчины, для которых форма стала лучшим, что они когда-либо прежде надевали, и полностью соответствовала их представлению об особом периоде в их жизни; были мужчины, пахнувшие тоником для волос из лагерьной парикмахерской, и мужчины из Принстона и Йеля, от которых пахло юфтью и которым хотелось жить, а не умирать; были и снобы, сыпавшие названиями дорогих магазинов, и мужчины, которые танцевали вальс, не снимая шпор, и обижались, когда у них отбивали партнерш. Девушки переходили от одного мужчины к другому в чувственном упоении тогдашним виргинским калейдоскопом.

---

<sup>20</sup> Имеется в виду *Уолтер Роли* (1552–1618) – один из основателей (1578) первого английского поселения у побережья Северной Каролины.

<sup>21</sup> Камень треугольной формы у сторожевой стены в замке английского графства Корк. Легенда гласит: кто его поцелует, тот обретет дар красноречия.

Все лето Алабама коллекционировала солдатские значки. К осени у нее была доверху наполненная коробка из-под перчаток. Ни у одной другой девушки не было значков столько, хотя она и потеряла несколько штук. Сколько танцев и катаний – и сколько же золотых планок и серебряных планок, бомб и замков, и флагов, и даже драконов. Каждый день она надевала новый значок.

Алабама ссорилась с Судьей Беггсом из-за своей коллекции безделушек, а Милли смеялась и советовала дочери сохранить ее, потому что среди значков были и очень красивые.

Потом наступили холода, как всегда в этих местах. Скажем так, святость сотворенного Богом затуманила унылые деревья; луна неясно светилась отдельными пятнами, похожими на зарождающиеся жемчужины; ночь выбирала белую розу. Несмотря на тучи и тьму, Алабама вышла из дома и стала ждать своего кавалера, погружаясь мыслями в прошлое и фантазируя о будущем, вспоминая сны и стараясь предугадать реальность.

Лейтенант со светлыми волосами и без значка поднялся по ступеням крыльца Беггсов. Он не купил себе другой значок на замену, потому что ему нравилось думать, будто тот, который потерял в битве за Алабаму, незаменим. Ему казалось, что небесные силы поддерживают его где-то под лопатками, отчего ноги словно бы не касаются земли, невесомость экстаза, вот что он ощущал, словно ему была дана тайная радость полета, однако, уступая общепринятым представлениям, он все же ходил, а не летал. Золотисто-зеленые в лунном свете, его волосы над чуть вдавленным лбом напоминали о фресках в целлах<sup>22</sup> и модных портиках. Впадины над глазами, как заслоны таинственных фантазий, словно бы хотели приглушить синеву глаз, придать больше вдохновенности его лицу. Мужская красота уже пробивалась сквозь мальчишеское очарование двадцатидвухлетнего юнца, это сказывалось на его жестах и движениях, на походке, напоминающей своей сдержанной неспешностью походку дикаря, который тащит на голове тяжелый груз камней. Ему казалось, что теперь как только он скажет таксисту: «Беггс-стрит, дом пять», – рядом появится призрак капитана Фаррелея.

– Вы уже одеты! А почему тут, на крыльце?

Снаружи было холодно и туманно.

– Папа пребывает в унынии, и я отступила с поля боя.

– И в чем же вы провинились?

– Ах, у него всегда одно и то же, мол, армия имеет право на эполеты.

– Разве не прекрасно, что родительская власть гибнет так же, как и все остальное?

– Прекрасно – но я обожаю традиции.

Они стояли на скользком крыльце в море тумана на довольно большом расстоянии друг от друга, и все же Алабама могла поклясться, что прикасается к молодому человеку, таково было магнетическое притяжение двух пар глаз.

– И?..

– Песни о летней любви. Ненавижу холод.

– И?..

– Светловолосые мужчины едут в загородный клуб.

Клубный особняк с любопытством вытягивался во все стороны под дубами, похожий на сросшиеся луковицы, выпускающие по весне стрелки стеблей. Проезжая по подъездной аллее, автомобиль носом тянулся к круглой клумбе пушницы<sup>23</sup>. Земля повсюду была исхожена и утоптана, словно перед детским театром. Провисшая проволока вокруг теннисного корта, облупившаяся тускло-зеленая краска на летнем домике у первой метки, подтекающий кран, пропыленная веранда с приятной атмосферой, создаваемой вольно разросшимися вокруг кустами. Жаль, что сразу после войны в одном из ящиков взорвалась бутылка маисовой водки, и все

---

<sup>22</sup> Внутреннее помещение античного храма (святилище).

<sup>23</sup> Красно-желтые тропические цветы.

сгорело дотла. Так много от любящей помечтать юности – не просто от переходного возраста, а от прожектерства и бегства неприспособленных людей в ту драматическую военную пору – было втиснуто под низкие стропила, что пламя, разрушившее святилище тоски по мирному прошлому, возможно, вспыхнуло из-за чрезмерного накала чувств. Всякий офицер, посетивший это место дважды или трижды, обязательно влюблялся, делал предложение руки и сердца и рвался создать поблизости маленькие, но в точности такие же загородные клубы.

Алабама и лейтенант задержались возле двери.

– Я хочу сделать запись о нашем первом свидании, – сказал лейтенант.

Вынув нож, он вырезал на дверной раме:

«Дэвид Найт<sup>24</sup>, – запечатлено навеки, – Дэвид, Дэвид, Рыцарь, Рыцарь, Рыцарь, и мисс Алабама Никто».

– Какая самовлюбленность.

– Мне нравится тут. Давай посидим где-нибудь.

– Зачем? Танцы всего лишь до двенадцати.

– Доверься мне на пару минут.

– Я тебе доверяю. Поэтому мне и хочется внутрь.

Ее немного рассердили имена на двери. Уже много раз Дэвид говорил ей, что собирается стать очень знаменитым.

Танцуя с Дэвидом, она дышала запахом новых вещей. Алабама была совсем близко к нему, едва не утыкалась носом куда-то между ухом и жестким воротничком, и это походило на приобщение к изысканности отличных тканей, тонкого батиста и полотна, к роскоши в тюках. Она завидовала его внешнему равнодушию. Глядя, как он уходит с танцевального круга в обществе то одной, то другой девушки, она злилась не на то, что его привлекают другие, а на то, что он приглашает других, а не ее, в те неведомые, не опаленные жаром тайники души, где обитает только он сам.

Он проводил ее домой, и они сидели у горящего камина, безразличные ко всему вокруг. Блики пламени сверкали на его зубах и на лице, придавая ему загадочное выражение. А она смотрела, как это лицо меняется – непрерывно и неуловимо, словно целлулоидная мишень в тире. Алабаме припомнились советы отца: как быть осмотрительной, чтобы не потерять голову, однако в них не было ничего, что предостерегало бы от мужского обаяния. Стоило ей влюбиться, и ее собственные афоризмы оказались не в состоянии ей помочь.

За последние несколько лет Алабама вытянулась, стала высокой и худенькой; ее волосы посветлели, словно бы оттого, что так сильно отделились от земли. Длинные стройные ножки она вытянула перед собой и рассматривала их, как какие-то доисторические рисунки; руки почему-то ныли и казались очень тяжелыми, словно взгляд Дэвида обременил их непосильным грузом. Алабаме было известно, что щеки у нее пылают от жаркого огня, как на июньской рекламе пивной, где хорошенькая девушка пьет земляничный молочный коктейль. Интересно, догадывается ли Дэвид, насколько она тщеславна.

– Значит, тебе нравятся блондины?

– Да.

Когда Алабаме приходилось подчинять себя чужой воле и отвечать на вопросы, у нее появлялось ощущение, будто ей что-то попало в рот и что ей надо было непременно избавиться от этого предмета, прежде чем заговорить.

Лейтенант посмотрел на себя в зеркало – светлые волосы, как лунный свет в восемнадцатом веке, и глаза, как гроты, – синий грот, зеленый грот, сталактиты и малахиты вокруг черного зрачка... как будто бы он производил смотр перед выходом и остался доволен тем, что все на месте.

---

<sup>24</sup> Английское слово «найт» означает «рыцарь».

У него был резко очерченный мшистый затылок, изгиб щеки напоминал о солнечном луге. А руки на ее плечах были теплыми, как подушка.

– Скажи «дорогой», – попросил он.

– Нет.

– Ты любишь меня. Так почему же «нет»?

– Я никогда ничего не говорю. Не люблю разговаривать.

– Почему?

– Это все портит. Скажи сам, что любишь меня.

– О... я люблю тебя. А ты любишь меня?

Алабама очень любила его и чувствовала, что все теснее сближается с ним, отчего Дэвид даже искажился в ее восприятии, как будто она прижалась носом к зеркалу и заглянула в собственные глаза. Линии его шеи и чеканный профиль действовали на девушку как порывы ветра, ветра, путающего все мысли. Вся ее душа вибрировала – будто истончалась и уменьшалась, словно поток жидкого стекла, который то расширяется, то вытягивается, пока не остается поблескивающий мираж. Не падая и не разбиваясь, стеклянный поток крутится и делается все более тонким. Алабама чувствовала себя такой маленькой и такой восторженной. Алабама влюбилась.

...Она влезла в уютную пещеру его уха. Внутри все было серое и призрачно-классическое – она оглядывала глубокие борозды явившегося ей мозжечка. Ни одной травинки, ни одного цветочка, взрывающих монотонность устоявшихся извилин – что-то толстое, серое и гладкое. «Надо посмотреть, что впереди», – сказала себе Алабама. Бугорчатый влажный курган возник над ее головой, и она решила обследовать его границы. Вскоре она заблудилась. Углубления и насыпи на пустоши напоминали мистический лабиринт; там не было ничего, что могло бы послужить ориентиром. Но Алабама не останавливалась и в конце концов достигла *medulla oblongata*<sup>25</sup>. Просторные извилистые коридоры водили ее кругами. В паническом страхе она бросилась бежать. И Дэвид, придя в себя из-за странной щекотки вверху позвоночника, оторвал губы от ее губ.

– Я пойду к твоему отцу, – сказал он, – и спрошу, когда мы можем пожениться.

Судья Беггс переступал с носков на пятки, тщательно взвешивая все за и против.

– Гм-м-м – ладно. Если вы в состоянии позаботиться о ней.

– В состоянии, сэр. Моя семья более или менее обеспечена – и я собираюсь работать. Этого нам хватит.

На самом деле Дэвид понимал, что денег немного – возможно, тысяч сто пятьдесят у матери и бабушки, а ведь ему хотелось жить в Нью-Йорке, да еще стать художником. Не исключено, что получить помощь от семьи не удастся. Что ж, как-нибудь устроится. Между тем помолвка состоялась. Ему необходимо было добиться руки Алабамы. Что же до денег... ему ведь когда-то виделись в грезах солдаты конфедератов, которые оборачивали кровоточащие ноги деньгами повстанцев, чтобы не обморозиться. Дэвид как будто был с ними – в тот момент, когда конфедераты поняли, что теперь не стыдно воспользоваться бесполезными банкнотами, после того как война проиграна.

Пришла весна, и сквозь белое покрывало пробились бледно-желтые нарциссы. Вьюнки лепились к тонким веточкам, а на старом дворе расцвели цветы из детства: подснежники и первоцвет, верба и ноготки. Дэвид и Алабама сбивали в кучи листья с толстых дубовых корней и рвали белые фиалки. По воскресеньям они ходили в варьете и садились в задние ряды, чтобы держаться за руки, не привлекая к себе внимания. Они выучили и пели «Моя любовь» и «Крошка», сидели в ложе на ревю Кола Портера «Хитчи-Ку» и неотрывно глядели друг на

---

<sup>25</sup> Продолговатый мозг (*лат.*) – часть ствола головного мозга, переходящая вниз, в спинной.

друга, пока хор пел «Как же мне сказать?». Весенние дожди растрясали тучи, превращая их в облака, и знойное лето залило Юг потом. Алабама носила розовые и белые полотняные платья, и они с Дэвидом много времени просиживали вместе под привинченными к потолку вентиляторами, которые гнали лето прочь. Ступив за широкие двери загородного клуба, они вжимались в космос, в джазовую тарабарщину, в черный жар, поднимающийся от растений в лощине, словно намереваясь оставить отпечатки своих тел для будущего населения планеты. Им нравилось плыть в лунном свете, который, будто медовым лаком, покрывал землю, и Дэвид проклинал воротнички на своей форме и всю ночь гнал машину на стрельбище, лишь бы подольше побыть после ужина с Алабамой. Они изменяли ритм вселенной, подстраивая его под себя, и завораживали друг друга громким биением своих сердец.

Непроницаемое марево стояло над опаленной травой на склонах, и песок в блиндажах поднимался в воздух, будто под ударом клюшки, сухой, как порох. Ветки золотарника рвали на клочки солнце; великолепное лето превращало землю в пыль и усыпало ею твердые глиняные тракты. День шел за днем, и наконец наступил первый день нового школьного года – лето закончилось, начиналась осень.

Дэвид отправился в порт погрузки и теперь писал Алабаме письма, полные рассказами о Нью-Йорке. Почему бы ей не приехать в Нью-Йорк и не выйти замуж там?

«Город сверкающих надежд, – восторженно писал Дэвид, – полова с волшебной мельницы, висящей в голубом небе! Люди мечутся по улицам, как мухи над патокой. Крыши домов горят, как золотые короны королей в зале собраний – а ты, любимая моя, принцесса, и мне бы хотелось запереть тебя в башне из слоновой кости, чтобы ты радовала одного меня».

Когда он в третий раз написал то же самое про принцессу, Алабама попросила его забыть о башне.

По вечерам Алабама думала о Дэвиде Найте и до конца войны ходила в варьете с летчиком, похожим на пса. А война закончилась неожиданно – объявлением на занавесе в варьете. Прежде была война, а теперь будут еще два отделения программы.

Дэвида опять прислали в Алабаму для демобилизации. Он рассказал Алабаме о девушке, которая была с ним в отеле «Астор», когда он напился почти до бесчувствия.

«Бог ты мой, – сказала себе Алабама, – ничего не поделаешь».

Она вспомнила о погибшем механике, о Феликсе, о верном псе-лейтенанте. Ей тоже было в чем себя винить.

Алабама сказала Дэvidу, что не сердится из-за девушки: она, мол, верит, что верность хороша, только когда она естественна. Наверное, и ее, Алабамы, есть вина в том, что случилось.

Как только Дэвид решил все свои проблемы, он позвал Алабаму к себе. Судья купил дочери железнодорожный билет на север в качестве свадебного подарка, Алабама ссорилась с матерью из-за свадебного платья.

– Не хочу так. Хочу, чтобы оно падало с плеч.

– Алабама, как ты себе это представляешь? Как же оно будет держаться, если его ничто не держит?..

– Ах, мамочка, ты придумалась.

Милли рассмеялась довольным и грустным смехом – и снисходительным.

– Мои дети думают, что я все могу, – благодушно проговорила она.

Уезжая, Алабама оставила матери записку в ящике комода:

*Моя самая любимая мамочка!*

*Я не такая, какой ты хотела бы меня видеть, но я всем сердцем люблю тебя и каждый день буду тебя вспоминать. Это отвратительно, что мне*

*приходится оставлять тебя одну, ведь мы все разъехались в разные стороны.  
Не забывай меня.  
Алабама.*

Судья проводил Алабаму на вокзал.

– До свидания, дочка.

Алабаме он казался очень красивым и недоступным. Она боялась заплакать, ведь ее отец был таким гордым человеком. Джоанна тогда тоже боялась плакать.

– До свидания, папа.

– До свидания, малышка.

Поезд умчал Алабаму из страны мечтаний ее юности.

Теперь Судья и Милли сидели на веранде одни. Милли нервно хваталась за веер из листьев карликовой пальмы, Судья изредка сплевывал между виноградными лозами.

– Как ты посмотришь на то, чтобы перебраться в дом поменьше?

– Милли, я прожил тут восемнадцать лет и не собираюсь ничего менять на исходе своих дней.

– Остин, у нас нет москитных сеток, и каждую зиму промерзают трубы.

– Меня это устраивает. Я остаюсь.

Старые ненужные качели негромко скрипели на ветру, который каждый вечер прилетал со стороны залива. Из-за угла доносились голоса детей, игравших при электрическом свете и сотворивших мстительный трюк со временем. Судья и Милли молча сидели в своих некрашенных качалках. Сняв ноги с перил, Судья встал, чтобы закрыть ставни. Наконец-то он стал хозяином в своем доме.

– Ну что ж, – произнес он. – Не исключено, что через год ты будешь вдовой.

– Еще чего! – фыркнула Милли. – Ты уже тридцать лет повторяешь одно и то же.

Нежные пастельные краски сошли с расстроенного лица Милли. Морщины между носом и ртом провисли, как веревки приспущенного флага.

– Твоя мать была такой же, – с упреком проговорила она. – Все время собиралась умереть, а дожила до девяноста двух лет.

– И все-таки она умерла, разве не так? – хмыкнул Судья.

Он выключил свет в своем чудесном доме, и они стали подниматься вверх – старая одинокая пара. Луна неспешно шагала по железной крыше дома, иногда неловко спрыгивая на подоконник к Милли. Почитав с полчаса Гегеля, Судья заснул. Долгой ночью его равномерное похрапывание действовало на Милли успокаивающе, убеждало ее в том, что еще не конец жизни, хотя в комнате Алабамы темно, Джоанна покинула дом, картонка с фрамуги в комнате Дикси давно выброшена вместе с кучей другого хлама, а единственный сын лежит на кладбище, в могиле рядом с Этелиндой и Мейсоном Кутбертом Бегтсами. Милли редко думала о себе. Она просто жила от одного дня к другому; а Остин и вовсе никогда не думал об их с женой существовании, потому что жил от века к веку.

Тем не менее лишиться Алабамы было для родителей ужасно, ведь она оставалась последней, и это означало, что без нее их жизнь станет другой...

\* \* \*

Алабама лежала на кровати в номере двадцать один-ноль-девять балтиморского отеля и думала о том, что теперь, когда родители так далеко, ее жизнь станет совсем другой. Например, Дэвид Дэвид Найт Найт Найт никак не мог заставить ее выключить свет, пока она сама не снисходила до этого. И никакие силы не смогут заставить ее что-нибудь сделать, в страхе думала она, если на то не будет ее собственной воли.

А Дэвид думал о том, что ему наплевать на свет, что Алабама его жена и что он купил ей детектив на самые-самые последние деньги, о чем она пока еще не знает. Детектив был очень неплохой – о богатстве, о Монте-Карло и о любви. Еще Дэвид думал о том, что Алабама очень красивая, когда вот так лежит и читает.

## Часть вторая

### I

Кровать была огромной, такой они не могли даже и представить. В ширину больше, чем в длину. К тому же в ней было все, что им обоим не нравилось в традиционных кроватях: блестящие черные шары и белые эмалевые стенки, как в детской колыбели, и особенно злило неаккуратно сползшее на пол с одной стороны покрывало. Дэвид перекатился на свою половину, а Алабама соскользнула на нагретое место рядом с воскресной газетой.

– Ты не мог бы еще немного потесниться?

– Господи Иисус... О Господи, – простонал Дэвид.

– Что такое?

– В газете сказано, что мы знаменитые, – глуповато моргнув, проговорил он.

Алабама села в постели.

– Вот здорово... Дай посмотреть...

Дэвид торопливо зашелестел страницами «Бруклин риал эстейт» и «Уолл-стрит кво-тейшнс».

– Прекрасно! – воскликнул он, чуть не плача. – Прекрасно! Кстати, тут сказано, что мы в санатории из-за своей испорченности. Хотелось бы мне знать, что подумают родители, когда прочитают.

Алабама пробежала пальцами по перманентной завивке.

– Ну, они подумают, – предположила она, – что мы там уже несколько месяцев.

– Но мы же не были там.

– Мы и теперь не там. – Стремительно повернувшись, она обняла Дэвида. – Правда?

– Не знаю. А ты как думаешь?

Они засмеялись.

– Ну, не глупые ли мы? – произнесли они одновременно.

– Ужасно глупые. Разве не смешно?.. Ладно, как бы там ни было, я рада, что мы стали знаменитыми.

Сделав три быстрых шага по кровати, Алабама спрыгнула на пол. За окном серые дороги толкали коннектикутский горизонт спереди и сзади, чтобы сделать из него стратегически важный перекресток. Мир на праздных полях хранил каменный солдат народной милиции<sup>26</sup>. Из-под перистолистных каштанов выползала автомобильная дорога. Непобедимые сорняки слабели на жару; выстроившиеся в шеренгу красные астры клонили головки. Гудрон разжижался на дорогах. А дом стоял себе и посмеивался в бороду из золотарника.

Лето в Новой Англии все равно что епископальная служба. Земля скромно радуется своим домотканым зеленым одежкам; лето швыряет нам свои фасоны и разрывается, протестуя против привычной нашей сдержанности, как спинка японского кимоно.

Танцую по комнате, счастливая Алабама одевалась и, ощущая себя очень красивой, думала о том, как потратить деньги.

– Что еще пишут?

– Пишут, что мы замечательные.

– Вот видишь...

– Нет, не вижу, но полагаю, что все как-нибудь утрясется.

---

<sup>26</sup> Солдат народной милиции эпохи войны за независимость 1775–1783 гг.

– И я тоже... Дэвид, наверно, это твои фрески.

– Естественно, не мы сами, мегаломанка<sup>27</sup>.

Резвясь на утреннем солнце, искристом словно хрусталь Лалика<sup>28</sup>, они были похожи на двух взъерошенных морских котиков.

– Ох, – вздохнула Алабама, перебирая в шкафу вещи. – Дэвид, ты только посмотри на чемодан, что ты подарил мне на Пасху.

Вытащив плоский чемоданчик из серой свиной кожи, она показала на большое водянистое желтое пятно, обезобразившее атласную подкладку. Алабама в отчаянии не сводила глаз с мужа.

– В нашем положении дама не может явиться в город с таким чемоданом.

– Надо позвать доктора... А что с ним случилось?

– Я одолжила его Джоанне в тот день, когда она приехала, чтобы наорать на меня за детские пеленки.

Дэвид издал осторожный смешок.

– Она была очень злая?

– Она заявила, что мы не должны разбазаривать деньги.

– Почему ты не сказала ей, что мы уже все потратили?

– Я сказала. По-моему, она решила, что мы поступили неправильно, ну и пришлось соврать, будто мы вот-вот получим еще немного.

– А она что? – самонадеянно переспросил Дэвид.

– Она не поверила; сказала, что мы не от мира сего.

– Родственники всегда думают, будто можно прожить, ни за что не платя.

– Больше мы ее не позовем... Дэвид, встречаемся в пять в холле «Плаза»... Как бы мне не опоздать на поезд.

– Ладно. До свидания, дорогая.

Дэвид никак не желал выпускать ее из своих объятий.

– Если в поезде кто-нибудь попытается украсть тебя, скажи ему, что ты принадлежишь мне.

– Если ты обещаешь, что не...

– До сви-да-ни-я!

– Мы ведь любим друг друга?

Винсент Юманс<sup>29</sup> писал музыку для сумеречного послевоенного времени. А сумерки были великолепные. Они висели над городом, как постиранное белье цвета индиго, сотворенные из асфальтовой пыли, закопченных теней под карнизами и ленивых дуновений ветра из закрывающихся окон. Они лежали на улицах, как сероватый болотный туман. В унынии весь мир шел пить чай. Девушки в коротеньких летучих пелеринках, в длинных развевающихся юбках и в соломенных шляпках, напоминающих тазики, сидели в такси перед «Плаза Грилл»; девушки в длинных атласных пальто, разноцветных туфельках и в соломенных шляпках, похожих на крышки от люков, плясали под льющуюся, как водопад, музыку на танцплощадках «Лоррейн» и «Сент-Реджис». В сумеречное время между чаем и ужином, когда закрываются роскошные окна, под угрюмыми железными попугаями «Билтмора» ореол вокруг золотых стриженных головок разбивался о черные кружева и бутоньерки; шум от кружения по-современному высоких и тонких силуэтов заглушал звяканье чайных чашек в «Ритце».

Кто-то кого-то ждал, крутили волоски на стволах пальм, превращая их в кончики темных усов, и разрывали на короткие полоски нижние листья. Это были в основном совсем молодые

---

<sup>27</sup> Мегаломания – мания величия.

<sup>28</sup> Имеется в виду *Рене Лалик* (1860–1945) – французский дизайнер, один из лучших мастеров парфюмерного хрустала.

<sup>29</sup> *Винсент Юманс* (1898–1946) – автор популярных мюзиклов 1930 годов и многих песен времен Второй мировой войны.

люди: к полуночи Лиллиан Лоррейн напилась вдрызг на верхней точке Нового Амстердама<sup>30</sup>, футбольные команды, нарушая режим, тоже напивались, до смерти пугая официантов. Вокруг было полно родителей, присматривавших за своими детьми. Дебютантки переговаривались: «Это Найты?» – или: «Я видела его в зале. Пожалуйста, дорогая, познакомь меня».

– Что толку? Они влюблены друг в друга, – растворялось в монотонных нью-йоркских пересудах.

– Конечно же это Найты, – отвечали хором многие девушки. – Вы видели его картины?

– Предпочитаю смотреть на него самого, – говорили другие девушки.

Серьезные люди воспринимали обоих вполне серьезно; Дэвид говорил о визуальном ритме и воздействии небулярной первичной стадии развития Вселенной на первичные цвета. За окнами в лихорадочной безмятежности мерцал город, увенчанный золотой короной. Вершины Нью-Йорка сверкали, подобно золотому балдахину над тронном. Дэвид и Алабама молча смотрели друг на друга – не зная, как подступиться к разговору о ребенке.

– Ну же, что сказал врач? – уже не в первый раз спросил Дэвид.

– Я же говорила... Он сказал: «Привет!»

– Не изображай ослицу... Что еще он сказал? Нам же надо знать, что он сказал.

– У нас будет ребенок, – с видом собственницы объявила Алабама.

Дэвид полез в карманы.

– Извини... Наверно, оставил дома.

Он думал о том, что теперь их будет трое.

– Что оставил?

– Снотворное.

– Я сказала «ребенок».

– А!

– Надо у кого-нибудь спросить.

– У кого?

Их знакомые много чего знали: лучший джин в городе у «Лонгэйкр Фармэсиз»; не хочешь пьянеть, закусывай анчоусами; метиловый спирт можно отличить по запаху. Всем было известно, где искать белый стих у Кэбелла<sup>31</sup> и как достать билеты на игру Йельской команды, что мистер Фиш живет в аквариуме и что в полицейском участке Центрального парка, кроме сержанта, есть еще и другие копы, – однако никто не знал, что такое иметь ребенка.

– Пожалуй, тебе надо спросить у своей матери, – сказал Дэвид.

– Ах, Дэвид, только не это! Она подумает, что я понятия ни о чем не имею.

– Что ж, тогда я спрошу у своего агента, – предложил он. – Он человек бывалый.

Город покачивался в приглушенном реве, похожем на рокот аплодисментов в огромном театре, доносящийся к стоящему на сцене актеру. Из Нового Амстердама «Две крошки в голубом» и «Салли» били по барабанным перепонкам и неуклюже ускоряли ритм, словно призывая всех стать неграми и заядлыми саксофонистами, вернуться в Мэриленд и Луизиану, музыка звучала так, будто вокруг были мамушки-негритянки и миллионеры. Продавщицы были похожи на Мэрилин Миллер<sup>32</sup>. Студенты обожали Мэрилин Миллер, как прежде обожали Розы Квинн. Знаменитостями становились актрисы кино. Пол Уайтмен<sup>33</sup> играл на скрипке о том, как важно веселиться. В том году в «Ритц» стояли очереди за бесплатными благотвори-

<sup>30</sup> Голландское поселение в южной части острова Манхэттен, ставшее потом городом Нью-Йорком.

<sup>31</sup> Имеется в виду Джеймс Кэбелл (1879–1958) – американский писатель. В своем творчестве использовал сюжеты и стиль средневековой поэзии.

<sup>32</sup> Мэрилин Миллер (1898–1936) – американская танцовщица и актриса, у которой Мэрилин Монро позаимствовала сценическое имя.

<sup>33</sup> Пол Уайтмен (1890–1967) – в 1919 г. организовал свой оркестр. В 1920–1930-е гг. его называли не иначе как Король Джаза.

тельными обедами. Знакомые встречались в коридорах отеля, где пахло орхидеями, плюшем и детективными историями, и спрашивали друг у друга, где они успели побывать. На Чарли Чаплине обычно была желтая куртка для игры в поло. Люди устали изображать пролетариев – все упивались славой. Ну а прочих, которые не были отмечены славой, поубивало на войне; собственная домашняя жизнь мало кого интересовала.

– Вон они, Найты, танцуют вместе, – говорили о них. – Как это мило, правда? Вон они.

– Послушай, Алабама, ты не удержишь ритм, – упрекал жену Дэвид.

– Ради Бога, Дэвид, не наступай мне на ноги!

– Никогда не умел танцевать вальс.

Теперь решительно все обрело унылый вид, с учетом нынешних обстоятельств.

– Мне придется много работать, – сказал Дэвид. – Разве не забавно – стать центром вселенной для кого-то еще?

– Очень забавно. Хорошо, что мои родители приедут прежде, чем меня начнет тошнить.

– Откуда тебе известно, что будет тошнить?

– Будет.

– То есть так тебе кажется.

– Да.

– Поедем куда-нибудь еще.

Пол Уайтмен играл «Две крошки в голубом» в «Пале Рояль»; номер был большой и дорогой. Девушки с пикантными профилями как две капли воды походили на Глорию Суонсон<sup>34</sup>. В Нью-Йорке было больше копий, чем самого Нью-Йорка – самыми реальными вещами в этом городе были абстракции. Всем хотелось попасть в кабаре.

– У нас кое-кто будет, – говорили все всем, – и нам бы хотелось, чтобы вы тоже были.

– Мы позвоним, – отвечали они.

В Нью-Йорке только и делали что звонили по телефону. Звонили из одного отеля в другой, где тоже была вечеринка, и просили прощения, что не могут прийти – так как уже приглашены. На чай или на поздний ужин.

Дэвид и Алабама позвали друзей в «Плэнтайшн» – кидать апельсины в барабан и себя – в фонтан на Юнион-сквер. Туда они и отправились, напевая «Новый Завет» и «Конституцию нашей страны» и одолевая транспортный прилив, подобно ликующим островитянам на досках для серфинга. Никто не знал слов «Звездно-полосатого флага»<sup>35</sup>.

В городе старухи с ласковыми и затененными лицами, напоминающими о тихих улочках Центральной Европы, торговали аютиными глазками; шляпы плыли на автобусе прочь с Пятой авеню; облака посылали предупреждение Центральному парку. На улицах Нью-Йорка пахло остро и сладко, как конденсат на машинах, в окутанном ночью металлическом саду. Меняющиеся запахи, люди и атмосфера волнения из главных артерий города проникали рывками в переулки, вторгаясь в их собственный ритм.

Обладая жадным всепоглощающим эго, Найты алчно впитывали жизнь в момент быстрого отлива, а всякую мертвечину выбрасывали в море. Нью-Йорк – отличное место, чтобы быть на подъеме.

Манхэттенский клерк не поверил, что они женаты, но комнату им сдал.

– Что ты? – спросил Дэвид, сидя на кровати под ситцевым балдахинном. – Не можешь сама справиться?

– Могу. Когда поезд?

– Уже пора. У меня есть два доллара, чтобы встретить твоих родителей, – сказал он и потянулся за одеждой.

---

<sup>34</sup> Глория Суонсон (1897–1983) – популярная актриса кино.

<sup>35</sup> Гимн США.

– Я бы хотела купить цветы.

– Алабама, – назидательным тоном проговорил Дэвид, – это нецелесообразно. Это просто дань предписаниям эстетики – своего рода формула украшения.

– Но ведь на два доллара все равно ничего не сделаешь, – вполне логично возразила Алабама.

– Думаю, нет...

Слабые ароматы из цветочного магазина в отеле, словно серебряные молоточки, стучались в раковину бархатного вакуума.

– Конечно, если придется платить за такси...

– У папы будут с собой деньги.

В стеклянную крышу вокзала бились клубы белого дыма. Похожие в сером свете дня на незрелые апельсины, висели на железных балках фонари. Толпы и толпы людей встречались и расходились на лестнице. Со скрежетом – словно тысяча ключей повернулась в заржавевших замках – остановился поезд.

– Знать бы, что в Атлантик-сити будет так трудно добираться. Мы опоздали на полчаса, просто не верится... В наше отсутствие город не изменился, – говорили пассажиры, энергично разбирая вещи и понимая, что их шляпы не годятся для города.

– Мама! – крикнула Алабама.

– Ну, как вы тут?..

– Разве это не великий город, Судья?

– Я не был здесь с тысяча восемьсот восемьдесят второго года. С тех пор многое изменилось, – сказал Судья.

– Хорошо доехали?

– Алабама, где твоя сестра?

– Она не смогла приехать.

– Она не смогла приехать, – неубедительно подтвердил Дэвид.

– Знаешь, – сказала Алабама в ответ на удивленный взгляд матери, – в последний раз, когда Джоанна была у нас, она взяла лучший чемодан, чтобы увезти мокрые пеленки, и с тех пор... ну, с тех пор мы почти не виделись.

– Почему бы ей не одолжить у тебя чемодан? – строго спросил Судья.

– Это был мой лучший чемодан, – терпеливо объяснила Алабама.

– Ах, бедная малышка, – вздохнула мисс Милли. – Полагаю, мы сможем позвонить им по телефону.

– Ты будешь иначе относиться к таким мелочам, когда у тебя появятся собственные дети, – сказал Судья.

Алабама заподозрила, что ее выдала изменившаяся фигура.

– А я понимаю, что чувствовала Алабама. – Милли великодушно отпустила дочери грехи. – Она и в детстве не любила делиться с кем-то своими вещами.

Такси подкатило к исходящей паром вокзальной стоянке.

Алабама не знала, как попросить отца заплатить таксисту, – она вообще чувствовала себя неуверенно с тех пор, как, выйдя замуж, перестала получать полные негодования приказы отца. Она не знала, что говорить, когда девушки картинно прохаживались перед Дэвидом в надежде увидеть свой портрет на его рубашке, и что делать, когда Дэвид рвал и метал, проклиная прачечную из-за оторванной пуговицы, которая-де загубила его талант.

– Дети, если вы займетесь чемоданами, я заплачу за такси, – сказал Судья.

Зеленые холмы Коннектикута вносили успокоение в душу после качки в скрежещущем поезде. Цивилизованные, укрощенные запахи новоанглийского газона, ароматы невидимых машинных парков вязали воздух в тугие букеты. Деревья с виноватым видом клонились к крыльцу, насекомые наполняли звоном сожженные зноем луга. В окультуренной природе не

было места ни для чего неожиданного. Если захочется кого-нибудь повесить, фантазировала Алабама, то придется делать это на собственном дворе. Бабочки то складывали, то закрывали крылья, это было похоже на фотовспышки. «Тебе не стать бабочкой», – будто говорили они. Это были глупые бабочки, они порхали над дорожкой, демонстрируя людям свое превосходство.

– Мы хотели скосить траву, – начала было Алабама, – но...

– Так намного лучше, – вмешался Дэвид. – Живописнее.

– Мне нравятся сорняки, – добродушно отозвался Судья.

– Они так хорошо пахнут, – добавила мисс Милли. – А вам не одиноко тут вечерами?

– Нет, друзья Дэвида иногда заезжают, да и в городе мы бываем.

Алабама не сказала, как часто они отправляются в город скоротать вечер, расплескивая апельсиновый сок в холостяцких убежищах и произнося монологи о лете за закрытыми дверями. Они стремились туда, опережая в своих ожиданиях ту праздничную жизнь, которая наступит в Нью-Йорке через несколько лет, так Армия спасения норовит успеть к Рождеству, стремились, чтобы расслабиться, окунувшись в воды обоюдной неугомонности.

– Мистер, – поздоровался с приехавшими появившийся на ступеньках Танка. – Мисси.

Дворецкий Танка был японцем. Держать его они могли только в долг, занимая деньги у агента Дэвида. Японец стоил дорого; а все потому, что создавал ботанические сады из огурцов и зелени с маслом, а со счетов на бакалею брал деньги на уроки игры на флейте. Они попытались обойтись без него, но Алабама порезала руку, открывая банку с бобами, а Дэвид, управляясь с газонокосилкой, растянул запястье на своей художественной руке.

Метя пол, восточный человек мерно, как маятник, покачивался, словно отмечая ось земли. Неожиданно он разразился тревожным смехом и повернулся к Алабаме.

– Мисси, не уделите ли мне един минутку – един минутку, пожалуйста.

«Хочет попросить денег», – с беспокойством подумала Алабама, следуя за дворецким на боковое крыльцо.

– Смотрите! – сказал Танка.

Негодующим жестом он показал на гамак, повешенный между колоннами, на котором храпели два молодых человека, положив рядом бутылку джина.

– Знаешь, – неуверенно произнесла Алабама, – ты лучше скажи мистеру – но только, Танка, когда рядом никого не будет.

– Правильна, – кивнул японец, прикладывая палец к губам. – Ш-ш-ш.

– Послушай, мама, почему бы тебе не пойти наверх и не отдохнуть перед обедом? – предложила Алабама. – Ты ведь наверняка устала от долгой дороги.

Когда Алабама вышла из комнаты родителей, Дэвид по ее растерянному лицу сразу понял, что произошло нечто неприятное.

– Ну что?

– Что? В гамаке спят пьяницы. Папа увидит, тогда не миновать бури!

– Выгони их.

– Да они шагу не сделают.

– О Господи! Пусть Танка проследит, чтобы они дали нам спокойно пообедать.

– Думаешь, Судья поймет?

– Боюсь, что...

Алабама огляделась с несчастным видом.

– Ну... Полагаю, рано или поздно наступает момент, когда приходится выбирать между ровесниками и родителями.

– Они совсем плохи?

– Почти безнадежны. Если послать за врачом, то без драмы не обойтись, – бросила пробный шар Алабама.

Дневное муаровое сияние солнца наводило глянец на безликие, по-колониальному затейливые комнаты, а также на желтые цветы, свисавшие с камина, как вышитая тамбуром салфетка. Это было будто священное сияние, высвечивавшее склоны и лощины грустного вальса.

– Непонятно, что можно сделать, – решили оба.

Алабама и Дэвид опасливо ждали в тишине, пока удар ложкой о жестяной поднос не возвестил об обеде.

– Очень рад, – заметил Остин, наклоняясь над розой, вырезанной из свеклы, – что вам удалось немного приручить Алабаму. Кажется, она стала неплохой хозяйкой.

Судью потрясла свекольная роза.

Дэвид подумал о своих оторванных пуговицах.

– Да, – сдержанно произнес он.

– Дэвиду здесь хорошо работается, – испуганно вмешалась Алабама.

Она уже собиралась нарисовать картину домашних радостей, как услышала громкий стон, донесшийся со стороны гамака. С видимым усилием одолев порог столовой, в дверях показался молодой человек и уставился на собравшихся. Каким он был с перепоя, таким его увидели сидевшие за столом – и не заправленную в брюки рубашку тоже.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.